

Библиотека  
журнала ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ**

№ 9  
1982



Алексей  
Логунов

**Куликовские  
притчи**



Алексей Логунов родился в деревне Черемухово Тульской области, недалеко от Куликова поля. Как и многие его сверстники — подростки послевоенных лет, — вступил в родном колхозе на первую свою трудовую тропинку.

После учебы в школе ФЗО по профессии каменщика его рабочая биография началась на городских и сельских стройках. Затем работал в газетах и на телевидении. Именно эти годы явились основой его творческого мужания.

В авторском активе Алексея Логунова — стихи, рассказы, а сейчас уже и повести. Но проза взяла верх над его стихами, читаешь ее, и угадывается в ней поэт. Видишь в этой прозе картины родной природы с нетерпеливыми ручьями и реками, с притихшими после прошумевших над тульской землей военных гроз лесами и перелесками, тальниковыми балками и неоглядными, до самого окоема полями... А в центре величавой картины срединной России стоит человек-труженик, человек-хозяин, человек — защитник этой земли.

Куликово поле, люди, живущие на нем, — главная тема произведений А. Логунова. О своих героях он пишет с душевной теплотой, с верой в добрые качества человека.

Николай АГЕЕВ



---

---

Библиотека  
журнала ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ** № 9  
**ГВАРДИЯ** 1982

---

---

Алексей  
Логунов

Куликовские  
притчи

Москва  
«Молодая гвардия»  
1982

**Художник Г. КОМАРОВ**

© Издательство «Молодая гвардия».  
Библиотека Журнала «Молодая гвардия», 1982 г.  
№ 9(16)



Наше Куликово поле с виду ничем не отличается от соседних полей. То овес на нем потряхивает кудрявым чубом, то усатый ячмень чуть покачивается, точно казак в седле, то рожь колосится, про которую в старину сложили мужики такую загадку: на поле ногайском, на рубеже татарском стоят столбы точеные, головы золоченые.

Вспомнишь эту загадку, оглянешься вокруг — и взаправду увидишь на поле-поляне, на высоком кургане чугунный литой столб с позолоченной главой-шлемом. И вдруг почудится тебе, что это не рукотворная колонна, а могучий ржаной колос взметнулся к самому небу и застыл, превратившись в памятник.

И хлеб родит Куликово поле, и сказки. И вырастают на этом хлебе и сказках удивительные люди с замысловатыми характерами. У каждого Ивана — свои затеи, у каждой Марьи — свои притчи.

## ЖИТНЫЙ ДЕД

Одолели меня мальчишки! То им расскажи, другое поведай.

— Дядя Леня, — говорят, — вот в доме живет домовой, в лесу — леший, в воде — водяной. Даже в огороде стоит пугало огородное. А кто в поле живет?

Справедливый вопрос! Ведь поле нас кормит и кормить будет. Хоть по-старому живи, хоть по-новому, а без хлеба не проживешь. Значит, и хранитель у хлеба должен быть.

— В поле, ребята, Житный Дед живет.

— Это кто — дядя Володя Ступников? — смеются они.

Володя Ступников, по прозвищу Житный Дед, — наш деревенский тракторист. А за что прозвали его так, еще скажу.

В поле он днюет и ночует — с ранней весны до глубокой осени. И трактор, и культиватор, и комбайн — любая машина его слушается, как умная лошадь хозяина.

Как-то вечером стали мужики купаться, а тело у Володи белое-белое, лишь коричневый треугольничек на груди, где ворот рубахи расстегнут. «Вот, — Володя засмутился, — всю жизнь под солнцем, а позагорать не удосужился...»

Мужики только улыбнулись. Станный он, этот Житный Дед! Вроде человек как человек, а в голове, видать, какая-то загогулинка лишняя есть. Как жатва — бригадир с ним воевать начинает. Потому что все комбайнеры по кругу хлеб косят, загонками, а Володя прямыми рядами и обязательно от дороги.

— Ведь тебе же, дурья голова, после каждого ряда комбайн разворачивать приходится, время теряешь! — злится бригадир. А Володя, оказывается, вайчишек и перепелок жалеет, того и гляди под

комбайн попадут. А если рядами косить, они успевают в другое место уйти...

На каждом поле, где-нибудь у межи, Володя оставляет пучок нескошенных колосьев и завязывает их узлом.

— Зачем это?

— Житному Деду бороду завиваю, — серьезно отвечает он.

— Сам ты Житный Дед! — скажет бригадир и махнет рукой.

Спорит он с ним просто так, для порядка, потому что Володя всегда намолачивает больше других. Что ни говори — мастер!

Вот про этого Житного Деда и вспомнили мальчишки. Но я рассказал им про другого, настоящего, который исстари живет на нашем Куликовом поле.

Был у нас в деревне паренек Никита. Весной умерли у него родители. Сильно тосковал Никита, но жить надо. Наладил соху и борону, вспахал поле и задумался: кто будет сеять? Существует поверье: если человек прикасается к мертвому, то сеять в этом году ему нельзя — зерно замрет, будут плохие всходы.

Соседей позвать — у них своих забот хватает.

«Никита, давай я буду сеять!» — вызвалась его семилетняя сестричка.

«Ты мала еще, Забавушка...»

«Ничего, как-нибудь!»

Подумал-подумал брат, приладил ей маленькое лукошко через плечо — и пошла Забава по пашне. Махнет рукой направо, махнет налево и слышит, как рука ее приговаривает:

«Ух, ух, хлебный дух!»

«Ты что там приговариваешь?» — кричит ей с межи Никита.

«Это, братец, не я. Это моя рука приговаривает...»

Улыбнулся Никита: забавляется сестричка. Ну что ж, ее и зовут Забава. А девчонка-то правду сказала. Махнет она рукой раз, махнет два, а рука все приговаривает:

«Ух, ух, хлебный дух!»

Остановилась Забава, разглядывает свою ладошку, а к ней прилипло пшеничное зерно. Пригляделась еще получше, а это малюсенький человечек!

«Ты кто?» — Забава шепчет.

«Я? Житный Дед!»

Соскочил Житный Дед на пашню и пропал. Пойди найди его среди других зерен!..

Когда рассказала Забава про Житного Деда брату, тот задумался: к худу иль к добру появился он на их поле?

Никита знал, что растет Житный Дед вместе с посевами. Взойдут зеленыя — и он подрастает, бегаёт по полю в зеленой рубашонке да с сусликами в прятки играет. Станут хлеба колос выметывать, и у Житного Деда усы да борода появятся. А когда подойдет жатва, волосы его становятся желтыми. В это время чаще всего люди и видят его в спелых колосьях. Стоит где-нибудь на краю поля этакий снопок, подпоясанный витым ремешком. А из-под золотых бровей-колосьев доверчиво смотрят на мир два голубых василька...

«Будь что будет!» — решил Никита.

А год-то выдался неурожайным. «Вот нечисть! — вспоминал паренек недобрым словом Житного Деда. — Уж не его ли это проделки?» Но, к своему удивлению, хлеба он собрал много, на отличку от всех. И зажили они с Забавой!

Сытому всегда кажется, что он умнее голодного. И когда соседи приходили к Никите попросить взаймы муки, он не отказывал, но обязательно приговаривал:

«Кто ленив с сохой, тому весь год плохой. А у меня вон даже суслики с хлебом».



И рассказывал, как раскопал сусличью норку, а там оказалось полпуда чистого отборного зерна.

Но особыми талантами в земледелии паренек до этого не отличался, и люди его одернули:

«Не задавайся, дружок. Посмотрим, какой ты вырастишь урожай на следующий год».

«В два раза больше нынешнего!»

«Если так, мы тебе в ножки поклонимся. А если нет... не обессудь!..»

Дал слово — держись. И Никита стал думать, как ему на следующий год собрать урожай вдвое больше. Он уж и не рад был, что брякнул об этом соседям, расквастался не в меру. Весной два раза перепахал поле, работал так, что рубаха на плечак сопрела от пота, один воротник остался. И пшеница ходко пошла в рост. Повеселел Никита. Ходит по своему полю, а вокруг него жаворонки да перепелки летают, мыши шмыгают, суслики свистят... «Это сколько же я дармоедов кормлю!» — удивился он.

По совету одной бабы-ведуньи, неудавшейся колдуньи, в лунную ночь накопал кореньев дурмана, набрал цветов белены, разыскал в лесу старую шкуру змеи, все это сварил и в полночь отнес ушат с отваром на свое поле. Когда возвращался домой, услышал сзади чей-то обиженный голос: «Ух, ух, ядовитый дух!» Но Никите так хотелось спать, что он решил, будто все это ему пригрезилось.

Утром на поле выпала ядовитая роса, от которой завяли синие васильки и желтая сурепка, разбежались суслики и мыши, улетели перепелки и жаворонки. Поле стало чистое, как гребешком прочесанное. И пшеница выросла на диво — каждая соломинка в палец толщиной. А уж про колос и говорить не приходится: на ладонь положишь, так и тянет к земле, словно копилка с золотыми монетами.

Собирать урожай парню помогали всей деревней: одному разве справиться? За работу он тут же щед-

ро расплачивался отборным пшеничным зерном. А когда смололи зерно и напекли пирогов, хозяйки не могли на них нарадоваться: такие пышные да румяные, сами в рот просятся. Но потом люди заметили, что пироги эти не давали сытости. Съешь хоть целый короб, живот станет, как барабан, а все будешь голодный.

И вернули люди Никите его пустую пшеницу...

Плохо пришлось бы в тот год Забаве и ее брату, если бы не соседи: они поделились с ними своим хлебом, обыкновенным, ржаным, выращенным без всяких хитростей.

От стыда Никита совсем забросил земледелие и подался в город мостить камнем дороги. Правда, поле весной он все-таки кое-как вспахал и засеял. Но делал все это без души, швырком, и вряд ли можно было ждать хорошего урожая...

— А наш Микит — не кит, — говорили о нем мужики. — Так, мелкая рыбешка. Умырнул из деревни — и волна не плеснула... Видать, с Житным Дедом не поладили.

С середины июня начинается «зеленая неделя», во время которой бывают самые длинные дни в году и самые светлые ночи. Еще ее называют «русалья неделя». В старину всю «зеленую неделю» девушки ходили в лес, сплетали на березах из гибких ветвей качели и с песнями катались на них. Они были похожи на лесных русалок. Помните, у Пушкина: «Русалка на ветвях сидит»? Может быть, это сказано как раз о них.

Однажды отправилась в лес со взрослыми девушками и Забава. Шла-шла, да устала и свернула на батюшкино поле. А там и пшеницы не видать — один осот да колючий чертополох. Вдруг слышит чей-то ворчливый голос:

«Ух, ух, травяной дух...»

Оглянулась, а в сорняках сидит Житный Дед, колючки из бороды выбирает.

«Забава, умой меня!» — говорит.

Принесла девочка воды из родника, стала умывать Житного Деда, а с неба вдруг как хлынет дождик! Вымокла она до нитки, а Житный Дед ее не отпускает от себя, привередничает:

«Забава, расчеши мне бороду!»

Борода у него наполовину соломенная, наполовину травяная. И так свалялась, что ее граблями не расчешешь. Забава все пальцы исколола, но разобрала Житному Деду бороду по прядочкам, в кольца ее завела. И так ему это понравилось, что он давай в ладоши хлопать да через голову кувыркаться. А сам все приговаривает:

«Ух, ух, соломенный дух!»

А сам из бороды травинки выдергивает, а соломинки оставляет. Кувыркался-кувыркался — и пропал. Глядит Забава, а пшеница стала чистая-чистая, куда и сорняки подевались, будто кто их выполол. Только кое-где мелькают в ней васильки, синие-синие, как глаза у Житного Деда...

Пришла пора убирать урожай, а брат все не возвращался. Разыскала Забава батюшкин серп и пошла в поле. Целый день жала пшеницу и вязала снопы. Жалко соседям девочку, но каждый спешил сначала на своем поле управиться. Дали добрые люди ей лошадь, чтобы снопы в ригу перевезти, а тут ночь. Да такая темная — ни зги не видать.

Тут и появился откуда-то Житный Дед. Бегает босяком по колючей жниве и в ладоши хлопает:

«Ух, ух, хлебный дух!»

Потом взял у Забавы серп и закинул в небо. Зацепился серп за облако, превратился в молодой месяц — светлынь в поле! Сложила Забава на телегу снопы, глядит, а Житный Дед уже на возу. Фыркал,

фыркал — и уснул. Так, сонного, и перенесла его Забава в избу, положила на лавку. Утром посмотрела, а на лавке вместо Житного Деда пшеничный сноп лежит. Долго не трогала его Забава, а потом обмолотила и ссыпала зерно в общий закром.

Научилась она и хлебы печь. Люди говорят, на вид они были неказистые, но зато съешь кусочек — и сыт.

Вот с тех самых пор и живет в народе обычай — последний сноп с поля приносить домой. Его ставят в горнице, в передний угол. В этом снопе Житный Дед и зимует. За зиму он так съежится, что станет не больше пшеничного зерна. А весной просыпается и начинает свою жизнь сначала...

## В ИВАНОВКЕ

— Вот и Ивановка! — объявил шофер, вылезая из кабины. — Приехали, ребята.

Ксюша Касымова, не дожидаясь, когда откроют борт, первая спрыгнула на землю. За ней посыпалась вся наша бригада.

— Где мы только не работали! — тараторила Ксюша, проворно оглядываясь вокруг. — В Ключевке, в Баранчиках, в Епифани, даже в каких-то Рогачах... А в Ивановке первый раз, а, дядь Лень?

— Самая дальняя деревня в районе, — говорю я. — Но и сюда добрались.

— А живут здесь, наверное, одни Ивановы. Интересно, председатель тоже Иван?

— Иван Фомич. Между прочим, молодой-неженатый.

— Ин-те-ресно! — протянула девушка.

Эта скуластая быстроглазая татарочка в Межколхозстрой пришла недавно, после окончания ПТУ. И ей действительно все интересно: и сама работа, и новые

люди, и тихие полевые дороги, по которым мы кочуем из села в село.

Ивановка — деревня обычная, похожая на все остальные, в каких приходилось нам бывать. Вот почему, наверное, показались давно знакомыми и вылинявший флаг над правлением колхоза, и пруд, засеянный гусиным пухом, и разноликие избы...

Нашей бригаде предстоит здесь (для начала) построить типовой крестьянский дом. Кирпичный, под шифером, с большими светлыми окнами и амбаром.

«Чтобы все было в лучших традициях крестьянской усадьбы», — пояснил председатель. Он заскочил к нам на своем вездеходе-«уазике» где-то в середине дня, когда мы уже разгрузились, немного освоились и приступили к работе. Иван Фомич поинтересовался, как устроились на новом месте, не нужно ли чего. Но из машины не вылез, разговаривал сидя за рулем, и рабочим это не понравилось.

— Для кого же строишь такой шикарный домик? Для начальства небось? — невинно, со скрытой усмешкой спросили председателя.

— Для детей, — отвечал он.

— Для своих, что ль?

— Нет, для детей Ивана-дурака.

Шутка пришлась кстати, все засмеялись, и возникшая было неприязнь к председателю стала таять.

— У вас что же, свой Иван-дурак есть? И где же ему и быть, как не в Ивановке! — от души гоготали каменщики.

— Был Иван-дурак, да весь вышел, — сказал председатель. — Сам погиб, а ребятишки остались.

— И много их у него?

— Трое. Вон младший как раз, — кивнул на густой высокий тополь. — Здорово, Простофиля!

Листва тополя зашевелилась, из глубины ее выглянула белая голова мальчугана лет девяти-десяти:

— Здравствуйте, Иван Фомич!



— Ты что там делаешь?

— За стройкой смотрю, а то мало ли чего.

— А-а... — удивился Иван Фомич и подмигнул каменщикам. — Народный контроль в действии, значит. А почему с дерева, Простофиля?

— Сверху-то виднее.

Иван Фомич засмеялся, дружески кивнул на прощанье рабочим и, сильно газанув, укатил. А мы все с интересом смотрели на мальчишку, первого представителя той семьи, для которой строили новый дом.

— Иди сюда, давай знакомиться, что ли! — крикнула ему Ксюша.

И когда мальчуган подошел к нам, спросила:

— Что же у вас председатель такой грубый? Ты его по имени-отчеству величаешь, а он тебя — простофиля.

— А-а, — улыбнулся мальчишка. — Он говорил не «простофиля», а «просто Филя». Два слова, понимаете?

— Ну и что?

— А то. Меня Филя зовут, Филипп. Когда я маленький был, меня спросили однажды, как зовут моих братьев. «Иван Иваныч и Петр Иваныч», — отвечал я. «А тебя как?» — «А я — просто Филя». Вот с тех пор меня в деревне так и кличут.

— У вас что, в Ивановке, все такие? — пряча улыбку, поинтересовалась Ксюша.

— Какие такие?

— Ну... необыкновенные, что ли.

— Все такие, — подумав, отвечал мальчишка.

И в подтверждение рассказал нам случай из своего жизненного опыта. Однажды очень захотелось ему славы, и стал он всем рассказывать о своих подвигах: «А я вчера задачку за старшего брата решил!» Или: «Я корову доить умею! Два раза вместо мамки доил».

Но ему никто не верил, все смеялись в глаза: «Брось хвалиться-то!»

Тогда Филя, несколько озадаченный поведением односельчан, стал ругать себя на все корки: «Ох, я такой дурак, что забываю, сколько дважды два будет — то ли три, то ли пять...»

И по деревне поползли разговоры: «Слышали? Филя-то даже не знает, сколько дважды два будет. Говорит, то ли пять, то ли три... Вот дурачок! А ведь здоровый уж малый-то вымахал, во второй класс ходит...»

— Вот видите, какой у нас народ, — заключил Филя свой рассказ. — Правильно вы сказали: ненормальный.

— Я сказала: необыкновенный, — поправила его Ксюша.

— А разве это не одно и то же? — удивился он.

Я начал подозревать, что мальчишка просто смеется над нами, и сказал:

— Ну хорошо, просто Филя... Отец у тебя Иван-дурак, а мать, конечно, Василиса Прекрасная?

— Да, — отвечал он, ничуть не смутившись, — Василиса. Да вот она с фермы идет.

Я вместе со всеми взглянул на тропинку и глазам не поверил: по ней действительно шла Василиса Прекрасная. Господи, как же она изменилась! Но я все равно узнал ее: ведь когда-то мы учились с ней в одном классе.

Василиса, Васютка, Васка... Называли мы ее по-разному, но любое из этих имен казалось нам прекрасным. А какие у нее были глаза! Шальные, синые, с поволокой... Все наши ребята так робели перед этими глазами, что, оставаясь с Василисой вдвоем, называли ее на «вы». От нас ей ни в чем не было отказа, мы готовы были исполнить любой ее каприз. Хорошо, что была она без особых запросов. Училась Василиса не хуже других, только вот сочинения мучили

ее. Впрочем, она их никогда и не писала, переложив эту обузу на наши плечи.

Чаще всего сочинения для Василисы писал я — у меня по ним всегда были пятерки. И ребята втихомолку завидовали мне. А учитель литературы Владимир Сергеевич всякий раз говорил:

— Ну что, Курносов, опять для Василисы Прекрасной сочинение писал? Ты, Васюта, хотя бы списывала повнимательнее, а то ведь ошибок-то, ошибок-то... Ужас просто!

Но Василиса взглядывала на учителя своими шалыми, с поволокой глазами, и он, крякнув, отворачивался и принимался распекать кого-нибудь другого...

После окончания семилетки все мы вдруг почувствовали себя взрослыми, стали допоздна пропадать на вечерках и без конца говорили о будущем: кто куда пойдет учиться, кто уедет или останется в деревне. И только Василиса, казалось, совсем не думала о будущем. Она до упаду плясала на «пяточке», пела под балалайку частушки про любовь и так шутила и смеялась, что взрослые парни от удивления скидывали брови, а девушки старались подальше увести своих женихов.

Потом она вышла замуж, но не к нам, а куда-то в дальнюю деревню, по другую сторону Куликова поля. С тех пор я видел ее раза два или три, однажды даже с мужем, беловолосым губастым парнем. Но все это мельком, на ходу, и поговорить путем не приходилось...

И вот она сама идет мне навстречу — еще более высокая, с вытянутым заострившимся лицом, в тапочках на босу ногу. А глаза почти не изменились. Взглянула мне в лицо, заслонившись ладошкой от солнца, узнала — и полыхнули глазищи прежним шалым огнем:

— Никак Леня Курносов?

Я пошел к ней навстречу:

— Здравствуй, Василиса Прекрасная!

Она улыбнулась, подала мне руку, потом наклонилась и поцеловала в лоб...

Вечером я отправился к Василисе в гости — она прислала за мной Филю. Жили они на другом конце деревни. Но мы уже издали услышали ее голос:

— Горе ты мое! Опять в репьях заблудилась...

— Это она с бабушкой Настей шумит, — объяснил мне мальчишка.

— С вашей бабушкой?

— Ну да. Старая она у нас — ужас. Еще при царе родилась. Зайдет в лопухи, а думает, что это лес, и кричит: «Караул, спасите!» А то пойдет к соседям жалиться: «Ох и сноха у меня — ни в грош меня не ставит! Я ей слово, а она мне — двадцать...» — «Это какая сноха-то, бабусь?» — «Да Клавдия. Сыночка моего, Василия, жена». — «Так ведь они оба еще перед войной померли». — «Будя городить-то! Померли... А с кем же я живу сейчас?» — «С Василисой». — «Да? — удивится бабушка. — А ведь и правда, вроде с Василисой. Ох, и зажилась я на белом свете, зажи-ла-ась...»

Когда мы подошли к Василисиной избе с двумя пушистыми ветлами у окон, хозяйка была во дворе: умывала из ведра сухонькую, похожую на капризную девочку, старушку. Затем вытерла ей полотенцем лицо и руки, повязала белым платком и усадила под окнами на завалинке.

— Что это такое, мама, — приговаривала она, — исцарапалась вся, как дите малое. Зачем ты в канаву-то залезла?

— Я за цветочками, Васюта. Ты не ругайся. Цветочки там красивые растут — и желтые, и синенькие, как ребячьи глазки.

— Ох, господи... Ужинать будешь?

— Ты ведь знаешь, какой я едок: сырого не ем, жареного не хочу, вареного терпеть не могу...

— Может, молочка парного попьешь?

— Молочка можно...

Через четверть часа Василиса подоила корову, собрала в горнице на стол, успела переодеться, и мы вчетвером сели ужинать. Бабушка, напившись парного молока, ушла за печку спать, Филя кольнул раз другой вилкой и тоже шмыгнул из-за стола (мальчишки вызвали свистом), и мы остались вдвоем.

— Как живешь, Василиса Прекрасная?

— Да-а, Ленъ, в девках я была Василиса Прекрасная... — отвечала она, подперев щеку ладонью. — А вышла замуж — пришлось стать Василисой Премудрой.

— Что так?

— Жизнь заставила... А ведь замуж по любви пошла.

— Где ты его хоть разыскала, своего суженого?

— Да здесь, на Куликовом поле. Как-то взбрела мне блажь в голову, поймала я в табуне лошадь и примчалась сюда — просто так, посмотреть. А чего смотреть-то было? Это сейчас все отреставрировали. А тогда церковка была почти разрушена, только чугунный столб стоит да рожь вокруг волнами зелеными перекатывается. Ничего особенного, а сердечко чую: тук-тук-тук... Слезла я с лошади, задумалась чего-то, а когда очнулась — рядом парень стоит. Волосы соломенные, почти белые, а глазищи синие-синие. Я так и вздрогнула вся от макушки до пяток. Все, думаю, это судьба моя. Да так и вышло.

Простояли мы с ним во ржи долго, говорили о чем-то — сейчас и не помню. Гляжу, мимо нас коровы шастают. Откуда?

«А это, — Иван говорит, — у меня стадо разбежалось».

«Так собратъ же надо! — кричу. — Что же по хлебу-то?»

А он смеется:

«От тебя уходить неохота».



Коров мы с ним изо ржи выгнали, собрали стадо в кучу, отогнали к Дону, на берег. Посидели там еще, поговорили. А через неделю приехал он за мной на самосвале и увез к себе в Ивановку. Он ведь и шофером работал, и кузнецом, и пастухом — куда пошлют. В деревне, сам знаешь, везде руки нужны. Ну, приезжаем в Ивановку. Гляжу — избушка кособокая, крыша мохом обросла.

«В дождик протекает небось?» — говорю.

«В дождь избы не кроют, — Иван смеется, — а в ведро и сама не каплет».

Ну, думаю, надо за дело браться. Избу вычистила, выскоблила, печку побелила, шторы повесила — ничего, жить вроде можно. Родных у Ивана никого, одна бабушка Настя. Да и та, как оказалось, чужая ему совсем. Но он ее мамой кличет, и я с первого же дня — мама да мама. Отец у него с войны не вернулся, мать от голода умерла, остался мальчонка один, баба Настя и взяла его к себе. Так потихоньку и вырастила для меня дурака.

— Почему же дурака?

— Да уж так его в деревне звали: Иван-дурак. Ты думаешь, Ивановы-дураки только в сказках? Не-е-ет, Леня, они и в жизни есть. Сам посуди: за всю жизнь человек ни разу не сфотографировался! И теперь у нас ни одной его карточки нет. Все стеснялся чего-то... До того стеснительный, что и не мужик вроде, а девка красная. А теперь вот Филя пристанет иной раз:

«Ма-амка, какой отец был?»

«Да господи, — говорю, — взгляни в зеркало и узнаешь!»

А про себя думаю: а ведь оставил Иван свои фотографии — целых три. Вот они, сыны-то его — вылитые копии.

— Как же он помер — болел?

— Да если бы. По-дурацки ведь погиб-то... С ра-

боты шел — глядит, воз падает, вот-вот в овраг, в самое бучило, сорвется. Степка Воеводский его плечом держит. «Помоги, Иван!» — Степка-то просит. Ну, Иван тоже подставил плечо. А возище тяжелый — с семенной пшеницей. Лошадь рвется из последних сил, да что толку?

«Ну, ты поддержи пока, а я за народом сбегаю», — Степка говорит.

И в деревню побежал. Ивану бы бросить все к чертовой матери, а ему пшеницу жалко. Отпусти он телегу — и загремит она в бучило вместе с лошастью... Пока Степка людей собрал, пока кваску попил да назад вернулся — Иван все стоит, держит. Подняли мужики телегу с зерном, вывезли на хорошую дорогу, глядят — Иван сел на обочине и встать не может. Сутки еще пожил — и все... На другой день и меня в больницу отвезли: Филю досрочно родила. Вернулась — трое ребят на руках. Если бы не бабушка Настя, не знаю, как с ними и управлялась...

Хлопнула дверь, и в горницу вошел длинный подросток лет четырнадцати — с белыми волосами до плеч, в широких брюках клеш. Увидев меня и мать за столом, стрельнул любопытным взглядом, поздоровался.

— Средний мой, Петька, — сказала Василиса, любуясь сыном. — Где пропадаешь весь день? Садись ужинать.

— Не хочу, я у Кораблевых поел, — баском ответил Петька.

— У невесты, что ли?

— Ваш намек нам невдомек!..

Петька покружил по горнице, словно что-то соображая, затем взял со шкафа зеркало и ушел на кухню, откуда через минуту послышалось щелканье ножниц.

— Чуб подравнивает, — объяснила мне Василиса и беззлобно заругалась: — Что же ты делаешь, идол!

Отрастил гриву как у лошади — и рад. В парикмахерскую лень зайти?

— Ты знаешь, мам, — отозвался Петька, — такую гриву умнейшие люди носили — Гоголь, Белинский, Добролюбов... А их всякая аристократическая шпана «лохмачами» обзывала. Улавливаешь суть?

— Я вот сейчас уловлю полотенцем вдоль спины... Стиляга! Волос долог, а язык-то длинней.

Наверное, Василиса еще поворчала бы на сына, но за Петькой забежали принаряженные девчонки, и он ушел с ними в клуб смотреть «Трех мушкетеров».

— Боевой парень! — сказал я.

— Петька-то? Этот обувши в рот влезет. А старшего моего знаешь как в деревне прозвали? Ваня безотказный. Он такой и есть — весь в отца. Друзья-подруги, видишь, уже в кино наладились, а он еще с работы не приходил. Второй год трактористом работает, в получку больше меня денег приносит. Вот так мы, Леня, и живем...

Давно похрапывала за печкой бабушка Настя, вернулся с улицы и улегся спать Филя, а мы все говорили и говорили о наших детях. И решили, что с детьми — горе, а без них — вдвое.

Уходил я из гостей уже под звездами, а Ивана все не было. Василиса вышла немного проводить меня. У колхозной мастерской тарахтел трактор, в луче прожектора мелькали тени.

— Зайду посмотрю, небось там мой сынище, — вздохнула Василиса.

Я попрощался с ней и зашагал к деревенской гостинице. А когда оглянулся, увидел в ярком кругу под фонарем Василису, а рядом с ней беловолосого губастого парня, точь-в-точь такого, с каким приезжала она в нашу деревню после свадьбы. Это и был, как я сразу понял, ее старший сын, Ваня безотказный, очень похожий на молодого отца...

Прошла неделя. Как-то рано утром отправился я в поле. Солнце еще не всходило, и дорога, да и вся округа, казались пустынными. Рожь уже выметывала колос. Впереди, среди бескрайнего поля, неярко светился позолоченной главой-шлемом Куликов столб. Я шел себе, покусывая горьковатый стебелек подорожника, и сам не заметил, как негромко, нараспев, стал читать печальные тютчевские строки:

От жизни той, что бушевала здесь,  
От крови той, что здесь рекой лилась,  
Что уцелело, что дошло до нас?  
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,  
Раскинувшись и широко и смело.  
Красуются, шумят — и нет им дела,  
Чей прах, чью память роют корни их...

Стихи были написаны более ста лет назад, но мне казались удивительно современными.

Природа знать не знает о былом...

Но тут я остановился: мне почудились голоса. Огляделся — никого. Даже немного жутко стало — откуда здесь, в чистом поле, голоса? Не из-под земли же! Иду дальше. Гляжу, а впереди, в лощинке — копешка прошлогодней соломы. И сидят на ней парень и девушка. Присмотрелся я получше, а это наша Ксюша Касымова! И парень что-то знакомый: широкоплечий, беловолосый... Э, да это же Ваня безотказный! Ну, Иван!.. Быстро же ты взял в плен нашу татарочку. А может, она его?

Я не знал, что делать. И стоять нехорошо, и уходить боялся: зашебуршишь, оглянутся, увидят — неловко будет. А им и горя мало, говорят не наговораются!

— Ты и пахал здесь?

— Ага.

— А ночью пахал?

— Приходилось.

— Ночью жутко, наверно. Ишь, какая пустота кругом.

— Да ты что, Ксюша? Это же поле. Оно как деревня, здесь всегда живая душа найдется: и днем и ночью.

— Какая же душа?

— Да мало ли. Со мной рядом, например, всегда лиса мышковала. Трактор работает — и она своим делом занимается. Но стоит мотор выключить — ушки топориком, и наутек. Отбежит в сторонку и ждет, что будет. Я как-то пробовал ее на мотоцикле догнать. А она забежала на вспаханное поле — и поглядывает, хитрюга. Дескать, что, съел? Словно знает, что по пашне на мотоцикле не разгонишься...

Чтобы не мешать этим двум душам, светлым и доверчивым, я повернулся и пошел обратно. Почти у моих ног вспорхнул жаворонок и зазвенел, залился, приветствуя начало дня. Ему откликнулся второй, третий, четвертый — над всем полем висели живые колокольчики! Неподалеку от дороги из норки выглянул суслик, встал столбиком, свистнул — эге, дескать, шумно становится — и снова юркнул в свое убежище. На свист его откликнулась перепелка: «Спать пора, спать пора...»

«Ну что ты, перепелочка, — мысленно говорил я, шагая в Ивановку. — Не спать, а пора за дело приниматься — достраивать дом». В лицо мне веяло теплой землей, горьковатой полынью и молодой рожью. Это были вечные запахи моей родины.

## КОЛЯДА

— Живы будем — не помрем, на родной земле живем! — любит приговаривать дедушка Коляда.

И поступает всегда сообразно с присказкой. Как-то



собрался он резать поросенка, на помощь соседей позвал. Кто нож точил, кто брусок держал, кто жгуты из соломы вертел, чтобы щетина лучше опалилась. И собралось за столом, вокруг сковороды с печенкой, почти полдеревни! Когда гости всласть наелись и наговорились, перепели все песни, какие знали, и уже под звездами стали расходиться по домам, Коляда каждого оделил куском свежего сала. Утром посмотрел — остались от поросенка только ноги да голова.

— Ничего, — утешал он загоревавшую супругу, — сварим из свиных ног холодец — опять гостей созовем!..

Для доброго человека слово его, как медаль. А для худого — как отметина на лбу. Про одного нашего мужика, который, не кончив очередной работы, хватался за другую, Коляда как-то обронил мимоходом:

— Не мужик — а полдела...

А что вы думаете? Теперь того мужика все окрестные деревни знают. Стоит ему появиться на базаре или в другом каком людном месте, как уже слышится со всех сторон:

— Здорово, Полдела!

— Как жизнь, Полдела?

И все это с улыбочками да ухмылочками. В конце концов мужик так привык к прозвищу, что и собственное имя забыл...

О находчивости Коляды рассказов по нашей округе ходит много. Правда, злые языки утверждают, что эти истории он сочиняет про себя сам, когда заглядывает в чайную на обочине Куликовского большака. Но что нам злые языки? Коляду любят все деревенские ребятишки, а уж этот народ за версту чует доброго человека. Он для них и друг, и сказочник, и мастер на все руки.

— Дедушка Коляда, постриги!

— Садись в кресло, воробей, — кивает он на ши-

рокий чурбак, на котором обычно отдыхает по вечерам.

Своей парикмахерской в Ключевке нет, вот и приходят ребятишки к Коляде.

— Как огуречик стал! — говорит он какому-нибудь карапузу, с удовольствием оглядывая его круглую стриженую голову.

Для ребят он все делает с радостью. И с не меньшим удовольствием любит поговорить с ними.

— Двойки-то получаете небось? — строго спрашивает он.

— Бывает... — виновато признаются мальчишки.

— «Бывает». Надо, чтобы не бывало. Помню, однажды не выучил я урок по истории — про Куликовскую битву. Чего его, думаю, учить? Вот оно, Куликово поле! Не за тридевять земель, а в нашем же колхозе. А учительница на другой день возьми да и спроси меня. Хорошо, не растерялся: давай шпарить сказку, какую от бабушки слышал. И так заговорил зубы учительнице, что она мне даже «отлично» в дневник записала.

— А что за сказка? — спрашивает из-за ребячьих голов писклявый бабий голос.

Коляда вскидывает густые брови, усмехается. Конечно же, это пришел Полдела! Его хлебом не корми — дай побаски послушать. Бросил сарай, который строит уже третий год, и пришел, уселся возле мальчишек. Ох и чудной мужик! Но в глубине души Коляде все-таки лестно, и он принимается рассказывать сказку.

— После битвы на Куликовом поле стали расходиться русские воины по домам. Кто побогаче был — на коне возвращался. А простой, неимущий люд пешком шел. Двенадцать израненных богатырей остановились во-он в том овраге, рядом с большаком, — Коляда показал рукой за старые ветлы. — Разбрелись они по оврагу, ищут воду, а вокруг ни капли. Тут,

может, и померли бы все, да вот что вышло. Там, где капала их горячая кровь, вдруг пробилась из земли двенадцать ключей с чистой водой. Напились богатыри той воды и снова силу в себе почувствовали. Омыли раны из светлых ключей — и раны их быстро зажили. Помогла им куликовская земля в живых остаться. И поселились они здесь навсегда. Избы построили, землю пахали, в дозоры ходили, чтобы незваных гостей басурманских встретить вовремя. А двенадцать ключей в овраге обнесли дубовыми срубками. Потому и деревня наша так называется — Большие Ключи, Ключевка.

Притихли мальчишки, слушают. Слушает и Полдела, время от времени облизывая кончиком языка толстые губы. Даже старый петух с общипанной шеей молча сидит на загородке и внимательно поглядывает на всех круглым глазом, похожим на черную горошину.

— А я ведь тоже воевал на Куликовом поле, — вспоминает Коляда, не прекращая стрекотать машинкой.

— С басурманами воевал? — вырвалось у кого-то из ребятишек.

— Да, мальчик, с басурманами. Только назывались они по-иному: фашисты. В сорок первом это было, осенью... На фронт я в восемнадцать лет ушел, но был таким тщедушным, что мне больше четырнадцати никто не давал. Товарищи жалели меня. Но война есть война, и раз ты солдат — делай свое дело.

Однажды оставили меня в засаде — следить за дорогой. Укрылся я под старой ветлой, в глубокой промоине. Часть корней у ветлы вымыло дождями, и они торчали из земли, словно длинные жилистые руки.

Сижую, жду... Луна взошла — огромная, красная. «Эх, — думаю, — не ко времени ты вылезла, голубушка. Плохо разведчикам в такую светлую ночь ра-

ботать». Оглянулся назад — Куликов столб сверкает своей главой-шлемом, горит весь. Дня три по нему фашисты дальнобойными лупили от Епифани. Всю землю вокруг изрыли, а столб — вот он, стоит! Один наш старый разведчик, Парамонов, уверял меня, будто видел, как чугунный столб во время обстрела ходил по Куликову полю. Словно неведомая сила изпод земли его двигала. Прицелятся в него фашисты, жажнут, а столб в сторону отойдет. Так ничего с ним и не смогли поделаться, хоть уйму снарядов потратили.

Сижу я так, размышляю над словами Парамонова, и вдруг — шмяк! — сверху на меня будто мешок с песком бросили. Я даже язык до крови прикусил: горячо так стало во рту, солоно. А мешок этот фашистом оказался. И откуда его принесло на мою голову, заблудился, что ли? Хватать он меня за горло и давай душить. Притиснул к земле так, что в ушах зазвенело. Я, понятное дело, вырваться норовлю, но где там! Силенок не хватает. И так мне обидно стало, что даже слезы брызнули. Отец, бывало, говаривал: умирай в поле, да не в яме. А я-то как раз в яме...

И вдруг, поверите ли, зашевелились корни у старой ветлы, сцапали сзади фашиста, оторвали от меня и бросили на дно промоины. Да так шмякнули, что он дух испустил.

На рассвете вернулись наши разведчики. «Как же, говорят, ты с ним справился, Коляда? Вон у него ряжка какая...» Я им рассказываю, как дело было — не верят. И только Парамонов сказал: «А чего вы удивляетесь? Разве может русская земля не помочь своему сыну-солдату? Да еще такому шкету, как наш Коляда!..»

Ребятишки даже сопеть старались потише — так внимательно слушали. Неожиданно из проулка выкатилась Брычка: круглая, румяная, засученные по локоть рукава в муке и тесте.

— Полдела-а! — громко, на всю улицу позвала она мужа. — Куда тебя черти унесли, опять небось варезку разинул — сказки слушаешь? Да провалиться бы тебе, такому лодырю!

Коляда и мальчишки невольно обернулись на голос Брычки. А когда она, изрыгая хулу и проклятия, подошла к ним и спросила, не видели ли они ее мужа, все посмотрели на то место, где еще минуту назад сидел на корточках Полдела. Но сейчас там было пусто, лишь дымился на земле толстый окурок. Брычка, видя, что мужа в этой компании нет, отправилась дальше. А голос ее все креп и креп, набирал силу:

— Я до тебя доберусь, червь капустный, я тебе устрою веселую жизнь!..

Когда Брычка удалилась, ребяташки зашушукались:

— Во дает!

— Ведьма настоящая...

— Дедушка, а куда же Полдела девался?

— Да тут я, тут, — слышался из кадушки писклявый голос.

Отряхавшись от пыли и прошлогодней листвы, оттуда вылез весь красный перепуганный Полдела. Ребята прыснули, Коляда тоже улыбнулся.

— Вам смешно! А мне каково с такой? Чуть что — и пошла, и пошла... Нет моей моченьки больше! — разошелся мужик.

И столько в словах его было отчаяния и тоски, что даже мальчишки перестали смеяться, притихли.

— А ты ее пожалей, — посоветовал Коляда.

— Ведьму эту пожалеть? — опешил Полдела.

— А что? Ведьма ведь тоже женщина. А для женщины что главное? Забота и ласка.

Поверил мужик Коляде, нет ли — не знаю. Но дня через два вся наша Ключевка прямо ахнула: Полдела и принаряженная Брычка шли в клуб; он вел ее под руку, а она застенчиво улыбалась.

## ПЛОТНИК ЛУЧИНА

Разговорился я с проезжим шофером, который подвез меня до нашей деревни.

— Ну и народ у вас на Куликовом поле! — крутил он головой.

И не понять было: то ли он досадовал, то ли восхищался.

— Да, народ у нас такой... — отвечал я, не зная, куда он клонит.

А шофер продолжал:

— Помню, работал я на стройке с одним вашим пареньком — баню на поселке делали. Бригада подобралась не бей лежачего: день анекдоты рассказываем, два... А тот паренек посмеется с нами немного — да за пилу. Слово шутливое кинет — да за топор. И не то что в укор нам, нет. Просто, говорит, не могу я без работы, вы уж меня, ребята, извините. Мы гогочем, а он тюк да тюк, тюк да тюк... И так, считай что один, и построил баню.

Шофер сдвинул на затылок кожаную кепку-блин, слова покрутил головой:

— До сих пор не пойму: что его заставляло? Ведь заплатили-то ему наравне со всеми.

— Да это же наш Лучина! — говорю. — Его характер. Такой длинный, с белыми бровями, да?

— Нет, тот вроде низенький был, курносый.

— А когда это было?

— Да лет тридцать назад.

— Э, да за это время и жук с медведя вырастет.

— Это точно, — усмехнулся шофер.

И я рассказал ему про Лучину.

— Знатный плотник и человек веселый. Да у них в роду все такие. Старики у нас говорят: раньше на Куликовом поле люди жили неграмотные, а пряники ели писаные. В Тулу их возами возили. Тулякам так понравились пряники, что они сами их стали печь.

А пряничные доски первое время заказывали нашим мастерам, чаще всего — плотнику Лучине. Какие только узоры-вавилоны он не выписывал на них! И все обыкновенным кухонным ножом.

Один тульский купец прилачился заказывать ему на пряничных досках портреты своих соседей. А потом ел пряник, на котором был отпечатан портрет, и наслаждался, приговаривая: «Вот, Иван Алексеич, мы вас и скушали». Он даже перед обедом будто бы всегда говорил кухарке:

— Ну, кого сегодня есть будем?

— Щи да кашу, батюшка, — кухарка отвечала.

А после привыкла, стала отвечать то, что нравилось купцу: «Соседа вашего Парфена». Или: «Купца Козодоева». Или: «Тульского губернатора!» Это уж смотря по тому, чей портрет был на печатном прянике, который она подавала к чаю.

Однажды перевернул купец пряник — и обомлел: на оборотной стороне был его собственный портрет! И на другом прянике, и на третьем... Вот и выходило, что купец, съедая своих соседей, съедал и себя. А все это ему устроил старый Лучина с Куликова поля!

— Сказки рассказываешь, — засмеялся шофер.

— Может, и сказки... А вот что было с отцом нашего Лучины, это уже в колхозное время. Смастерил он деревянную бричку — загляденье! Легкая, красивая, петухами да колосьями расписана. Все ключевские женихи на ней свататься ездили. Даже из соседних деревень брали напрокат эту бричку. Ее так и называли — «свадебная». И вот позарилась на нее жена колхозного бригадира, захотелось ей на базар прокатиться, покрасоваться. Пристала к мужу: запряги да запряги бричку, ты, мол, в деревне хозяин. Ну бригадир и послушался.

Не успела баба за деревню выехать, как бежит назад и за бока держится. Люди потом рассказывали,

будто подкидывало ее дорогой, словно тыкву на ладонях. Метра на полтора над бричкой взлетала! А Лучина только улыбался себе в усы. Сделал он бричку с секретом: потайной рычажок у нее сбоку был. Повернешь рычажок влево, и бричка становится легкая, как ласточка — сама летит. А повернешь вправо — начнет трясти да подкидывать, как норовистая кобыла. «Ну и понянчило бабу! — смеялись люди. — Мать так в детстве небось не нянчила».

Таким же озорником вырос и Лучина-младший.

Как-то приехал к нам в деревню художник из Тулы — писать портреты лучших людей. Ну, председатель первым делом повел его в столовую. А по дороге рассказывает, с кого можно бы написать портрет: и тот хорош, и этот... Ветеранов труда много, особенно женщин. У столовой остановились. «Прелесть какая!» — говорит художник. «Что?» — «Да вот это — дед и баба». А перед нашей столовой стоят два засохших дерева, превращенные в скульптуры, — словно живые дед и баба. «Дед» чем-то удивительно похож на председателя колхоза, а «баба» — на заведующую столовой. Оба они низко кланяются и руки разводят, словно в столовую приглашают: добро пожаловать! «Кто это сделал, художника приглашали?» — спрашивает гость. «А... — махнул рукой председатель. — Один наш плотник дурачился, Лучина». — «Лучина? Прекрасно! Вот и напишу его портрет. Чувствую, душа у него и светит и греет. Хороший, должно быть, человек». — «Да, анкетные данные у него хорошие, — подтвердил председатель. — Только балабол он большой, то есть я хотел сказать, балагур». — «У вас вся деревня балагуры, — улыбнулся художник. — Кто ни встретится, обязательно что-нибудь веселое скажет». — «Что еще, а поговорить у нас любят... В иных колхозах за рукав на трибуну тянут, а у нас обижаются, если собрания долго не бывает. Так разговорятся — прямо новгород-



ское вече! Может, еще кого нарисуете?» — с надеждой спросил председатель. «Нет, Лучину». — «Ну что ж, его так его».

Для знакомства поехали все трое на природу, в соседний лесок — так захотел городской гость. Валялись на траве, разговаривали, собирали грибы, даже дурачились — благо никто не видел. В просветах между березками перекатывалась волнами рожь, а на фоне синего неба светился позолоченной главой-шлемом Куликов столб, словно сказочный богатырь в дозоре. «Красиво у вас!» — восхищался художник. «Вот и нарисуй эту красоту», — посоветовал Лучина. (Они с художником уже успели подружиться и называли друг друга на «ты».) «Да я бы хоть сейчас. Жаль, мольберт не захватили». — «У хорошего мастера инструмент всегда с собой». — «Может, и у тебя с собой?» — насупился председатель: неудобно ему, что плотник городского гостя конфузит. «А вот мой инструмент», — вытянул Лучина руки. Смотрит художник — совсем они не грубые да корявые, как это бывает у рабочего человека. У Лучины руки длинные, с тонкими чуткими пальцами, и в то же время сильные. «Ничего ты голыми руками не сделаешь», — председатель подначивает. «Да? — встрепенулся Лучина. — А давай посмотрим!»

Поспорили. Лучина походил по дороге, нашел ржавый гвоздь, заточил его о булыжник и потом этим гвоздем аккуратно срезал молодой кленок. Опять же гвоздем поцарапал деревце, поколдовал, и через полчаса принес красивую трость. Вся она была украшена колечками, фонариками, ромбами-квадратами, звездочками. А вдобавок затейливой славянской вязью написано: «На память от Лучины». Художник был в восхищении. «За полчаса ржавым гвоздем сделать такой сувенир! Вы талант, Лучина», — снова перешел он на «вы». «А председатель вот говорит, что я балабол», — усмехнулся плотник.

Портрет Лучины художник написал. Длинный, голубоглазый, с белыми бровями — сидит он на ступеньках крыльца и смущенно улыбается. Словно сам себя застеснялся, что сидит просто так, без дела. Этот портрет теперь висит в областном художественном музее. Там же хранится под стеклом и кленовая трость, которую ради шутки плотник с Куликова поля сделал одним ржавым гвоздем.

...— Постой, постой, — обернулся ко мне шофер. — Какой, говоришь, он из себя, этот ваш Лучина, — длинный, с белыми бровями?

— Ну да.

— Голубоглазый?

— Голубоглазый.

— Я же час назад за одним столом с ним сидел! И рассказал, что произошло.

— Везу я уголь продавать и думаю: местность здесь безлесная, печки топить нечем, так что хорошо должны заплатить. И не заметил, как в одной деревне в канаву залетел. Тут откуда-то и появился этот мужик — длинный, с белыми бровями. Нажал плечом на задний борт, кричит: «Давай-ка помогу, браток! Раз-два, взяли!»

Выехал я на сухое место. Стоим, закуриваем. А из дома напротив бабка вышла, смотрит на нас из-под руки — что за люди? Тот, длинный, и говорит мне: «Знаешь, в каждой деревенской бабке свою мать угадываю. С тобой не бывает такое?» Глянул я на бабку — и обомлел: ведь это же точно моя мать! И платок в горошек, и фуфайка, и взгляд печальный, — все до того родное, хоть ревмя реви. Зачем она, думаю, сюда из Рязанской-то области? А старуха подходит и говорит: «Гляжу — машина возле моей избы остановилась. Не сынок ли, думаю, Петя, уголька мне прислал?» — «Да, мать, — отвечаю. — Петька уголь прислал».

А у самого горло сжимает. Вижу ведь, чужая бабка, а не могу отделаться от наваждения, что передо мной мама. Так и отдал ей машину угля задаром. Бабка не знала, куда нас посадить, чем угостить — так рада была. А сама все про сына спрашивает, как он там, здоров ли? Хоть бы, мол, письмо написал, а то ведь второй год ни слуху, ни духу. «Здоров, — говорю, — как космонавт. Кланяться велел».

А этот длинный, Лучина ваш, хлопнул меня по плечу — дескать, молодец, хорошо врешь, и исчез куда-то. Словно его и не было. Ну и народ!.. — продолжал удивляться шофер...

## МАЛАНЬИНА СВАДЬБА

Встретились утром две кумы у колодца и ну новостями делиться! Говорили-говорили, вдруг слышат писк. Оказывается, пока судачили, на голове у одной из них сорока успела свить гнездо и вывести птенцов. А у другой вырос и зацвел горох!

Решили кумушки еще немножко постоять, пока птенцы подрастут и горох поспеет.

Бабы разговоры словно кружева. Плетут их бабы, удивляют друг друга, и нет им конца-краю! А добрая половина их — про Маланьину свадьбу.

— Ну и свадьба! Игрушки да смешки, шутки да потешки.

— Прямо самодеятельность!

— Правда, правда, кума. Вся деревня гуляла!

— А старики-то наши что отчубучили? Я прямо так и обомлела. Открывается дверь — и входит сивый мерин! За ним волк под руку с овечкой, коза в лентах... И все в пляс пустились. Сивый мерин упарился, отстегнул голову, а под ней — дед Коляда.

— Э, кума, какая же свадьба без ряженных?

— Ах, Малашка-милашка, утренняя пташка...

...Росла девчонка без отца, без матери — у тетки воспитывалась. Больше всего любила она играть в медсестру. Даже на школьном портфеле ее, как на медицинской сумке, был нарисован красный крест. А рядом с книжками всегда лежали бинты, пузырек с зеленкой и градусник. Вот и прозвали ее Пипетка. А может, получила она свое прозвище за еле заметный носик. У иного нос — в варежку не спрячешь. А тут словно ущипнули слегка белое тесто, да так и остался этот щипок, лишь зарумянился.

Появились у тетки двое близнецов. Малашка от них ни на шаг. Сама как божья коровка — маленькая, в платьице горошком, — а все, бывало, этих комаров писклявых за руки водит. Да не только близнецы, вся малышня на слободе гуськом ходила за Малашкой. Как утро — уже бегут, в окно заглядывают: «Нянька дома?»

Была она (да и сейчас тоже) ужас какая доверчивая. Уже в пятом классе училась, а искренне верила в приметы, в вещие сны, в чудеса науки и техники, даже в летающие тарелки. Как-то прибежала домой, рассказывает тетке: «Сама видела, как тарелки возле бригадировой избы летали! Вот, я даже подобрала одну, край только откололся».

Когда разобрались — точно, летали в тот вечер тарелки. Это бригадирова жена выясняла с мужем отношения. Она в него не только тарелками швыряется, а всем, что под руку попадет...

И вот не заметили, как выросла девчонка!

— Да, девку замуж выдать — не пирог испечь.

— А уж пирогов-то напекли! Действительно, как на Маланьину свадьбу. С пылу, с жару! Кипят, шипят, чуть не говорят.

— Ох, кума, а что же на свадьбе мясо такими крупными кусками нарезали?

— Примета есть: чтобы скотина крупная водилась и дом был — полная чаша...

Стоят бабы, судачат, перебирают по косточкам всю Малашкину жизнь. Известно — на молву нет суда...

Новый дом для молодоженов срубил деревенский плотник Лучина. Как-то вечером увидел он Малашку с женихом: сидят под одним пиджаком на старом телесном колесе.

— Что ж вы не женитесь?

— Да жена с матерью в одной избе не уживутся: обе голосистые, — отшутился парень. — А я тишину люблю.

— Давайте я вам новый дом поставлю.

— Из чего ставить-то? — вздохнула Малашка. — Во дворе у тетки всего три доски валяются.

— Ну и хватит, — плотник смеется. — Три кола вбито, бороной накрыто — и то дом.

И что вы думаете? На следующий день выбрал он подходящее место, разметил площадку под фундамент и перенес туда три доски, про которые Малашка поминала. Узнали люди, что Лучина затеял дом для Малашки строить, одобрили. И вот кто бревна везет, кто кирпич, кто цемент... Столько всего натащили — на два дома хватит! Нашлись и помощники. И через месяц из трубы нового дома уже проклюнулся дым, похожий на синюю птицу с кудрявым хвостом.

Вот и пошла гулять с той поры поговорка:

«У нас на Куликовом поле дом из трех досок можно построить».

А бабы так расщедрились — в дом все несут: кто кровать, кто стол, кто скатерть или чашки-ложки... Живите на здоровье!

— Кума, а помнишь, как тетка Малашке наказ давала? «Пусть у тебя в новом доме будет столько же детей, сколько черепков!» И хватать тарелку об пол — на мелкие кусочки! А Малашка смеется: «У меня и сейчас не меньше». Отдернула занавеску, а за ней ребятшек деревенских — как семечек в подсолнухе. Сидят себе, пряники едят, киселем запивают. Места им за

столом не досталось, вот Малашка и определила их на печку.

— А что с женихом-то вышло, помнишь? Хватились, а невеста одна сидит. Где жених? Бабы, слышу, зашептались: ну и теленок этот Борька! Небось на речку побежал, верши проверять... А мне обидно стало, ведь он крестник мой. Был бы теленок, говорю, не поймал бы такую золотую рыбку! И на Малашку киваю.

— Хорошо ты сказала, кума. Все даже в ладоши тебе захлопали.

— Да... А тут и вошел этот старик, дряхлый-дряхлый. И прямо к невесте: постирай мне, девонька, рубаху. Мужики на него шуметь: нашел, мол, время, садись лучше за стол — гостем будешь. А старик не понимает. Может, говорит, ты и стирать-то не умеешь, а замуж собралась! Сверкнула Малашка глазами: снимай, говорит, свою рубаху, дед, постираю — как новая будет. Разделся старик, глядит Малашка — а это жених ее, Борька. Вот ведь учудил!

...Шумит в новом доме свадьба, гудит, как сто колоколов. Не заметили, как и Малашка куда-то исчезла. А в открытые окна с улицы нестройная песня доносится.

— Видать, ребята из Куликовки к нашим девкам идут. Ишь, ревут, горластые... — говорят бабы. — Перепоем их?

— Перепоем!

И взвилась под потолок песня, потом другая, третья... Вроде затихли куликовские женихи. А тут и Малашка прибегает.

— Ну что, напоила их? — бабы спрашивают.

— Напоила.

— А закусить дала?

— Конечно.

— Чего?

— Да сена, чего же еще.

— И едят? — смеются гости.

— Конечно, едят. Проголодались за целый день-то...

— Вот девка! — хохочут бабы. — За словом в карман не лезет. Правильно, пусть куликовские женихи сеном закусывают.

А Малашка-то ходила колхозных телят поить: забыли про них с этой свадьбой, вот они и ревели.

Что тут смеху было! Нет, не зря ее колхоз на зоотехника выучил. Невеличка, да Ивановна!..

Глядь, что-то на улице красное промелькнуло, вроде огонь полыхнул. Мужики так и прилипли к окнам. А бабы их не пускают, оттаскивают.

— Отойдите! — кричат. — Это же Фифа, наша соломенная вдова! Она не только от спички, от каждого горячего взгляда вспыхивает.

Выбежала какая-то старуха на улицу, окатила соломенную вдову водой:

— Пожару еще нам не хватало!

Может, было все это, может, не было...

Шум от колодца — на всю деревню! Известно, две бабы базар, а три — ярмарка. А тут их человек пять собралось. Поглядели на первых двух — ну и прически смастерили себе! У одной сорока в гнезде, у другой гороховый сноп и стручки, как бигуди, висят. Пригляделись получше, а сорока-то живая, и гороховые стручки настоящие. Но даже не удивились — некогда! Все сразу в разговоры ударились:

— Я кровать молодым дала...

— Я стол...

— А я посуду...

— Что и говорить, дом у них, как закром осенью!

...Плетут бабы свои разговоры, удивляют друг друга и добрых людей. А кто первый начал? Две кумы! Оглядели они одна другую: ни гнезда с сорокой, ни гороха... Оказывается, пока судачили, выросли сорочки

птенцы, поклевали весь горох и разлетелись по деревне — новости на хвостах понесли!

Заторопились домой и кумушки...

## ВЕРЕГИНЯ

Я люблю бывать у Кузьмы Николаича Найденова, нашего деревенского учителя. В школе он ведет уроки труда, которые продолжаются у него и дома. Когда ни придешь к нему, все он окружен ребятишками. Своих четверо, да соседских вдвое больше. Шумят, бегают, дурчатся, а чаще всего что-нибудь мастерят. И, Найденов с ними...

Дом у Найденова с терраской и под шиферной крышей. Но чем-то он неуловимо отличается от других таких же домов. Может, все дело в елочках? Возле его калитки растут две темно-зеленые елочки, похожие на бегущих первоклассниц: и руки, и косички вразлет! Елки в деревне сажали многие, а вот принялись только у него.

Есть у этого дома еще одна особенность: на дверях никогда не увидишь замка. Ни днем, ни ночью... Говорят, в первый же день, когда Найденов вселился в новый дом, жена его купила в сельмаге небольшой симпатичный замочек, похожий на свернувшуюся калачиком собачку. А Найденов взял да и закинул его в пруд. И все это со смешком да с присказками: «Замыкаю сим булатным замком пути-дороги к нашему дому дикому зверю, черной корысти и всякому лихому человеку!»

И правда, за много лет еще ни один вор не соблазнился открытыми найденовскими дверьми. «А что у него там брать-то? — по-своему объясняют этот факт досужие деревенские старухи. — Все богатство — одни ребятишки среди голых стен. Да старый плакат...»

Что верно, то верно. В горнице, на совершенно пустой стене, где у других красуются картины «Три бога-



тыря», «Золотая осень» или рамки с семейными фотографиями, у Найденова висит плакат военных лет: «Родина-мать зовет!» Висит в рамочке, под стеклом, — видно, что хозяин дорожит им.

— Что ему золото? Светило бы солнышко! — с улыбкой говорят в деревне про Найденова.

Жена Кузьме Николаичу все мальчишек рожала. Любой отец на его месте был бы доволен, а ему все хотелось дочку. И когда четвертым ребенком оказалась девочка, Найденов назвал ее красивым старинным именем — Берегиня. Жена не возражала, а вот деревенские старухи отнеслись к этому неодобрительно.

— Ой, смотрите! Не под силу простому человеку такое имя носить. Не проживет она долго на белом свете, заберет ее к себе Берегиня...

— А может, наоборот — от несчастий уберезет? — посмеивался Найденов.

— Воля твоя, Кузьма Николаич, ты человек ученый, но смеяться над этим не стоит.

— Я и не смеюсь...

Легенду о Берегине, которая живет на Куликовом поле, он знал, но все-таки решил попотешить старух, спросил:

— А что это за Берегиня такая?

— Будто не знаешь?

— Да слышал краем уха... Но хотелось бы поточнее узнать.

И старухи охотно рассказали ему про Берегиню.

— Видал на берегу Непрядвы старую ветлу? А рядом большой валун, похожий на каменную лошадь. Так вот эта ветла когда-то была женщиной, прапра-пра матерью человеческой. Много у нее было детей, очень много... Сунет прапра-пра матерью человеческая левую руку за пазуху и вынет оттуда девочку. Сунет правую — и вынет мальчика. Но левой рукой за пазуху неудобно лезть, вот она все мальчиков и вынимала.

И вырастали из ребят богатыри. Подрастут, сядут

на коня — и в путь. Но обратно никто из них не возвращался. Тогда села и мать на коня, решила посмотреть, как ее дети обживают пустую землю. Ехала, ехала, и что же видит? В чистом поле, на вольной воле сыновья ее убивают друг друга! Застонала праматерь человеческая... И такая тоска была в ее голосе, что конь под ней тут же окаменел. А она соскочила на землю и кинулась спасать сыновей. Но не многих удалось спасти, лишь тех, кого в охапку схватила. Они и заселили потом нашу землю. А остальные повернули коней и кинулись от матери прочь. Но и в дороге братья продолжали биться, пока совсем не истребили друг друга...

Поседела праматерь человеческая и с горя превратилась в ветлу. Так по сей день и стоит эта корявая ветла на берегу Непрядвы, много веков стоит. И люди называют ее Берегиня.

Не потому ли и полюбились народу ветлы? По деревням возле каждой избы шумят! Дерево вроде бы слабое, а живучее. Отломит ветром сучок, воткнется он где-нибудь в землю на берегу ручья — и глядь, уже корешки пустил, новая ветелочка растет.

А праматерь человеческая, если людям грозит беда, принимает свой прежний облик и ходит по земле — предупреждает. Выйдет в красном платье — значит, быть войне. В черном — к мору и повальным болезням. А если появится в зеленом платье, тут радоваться надо: урожай будет богатым. Вот, Кузьма Николаич, какая она, Берегиня. А ты ее именем дочку назвал. Не стоило бы...

— Да почему же? — недоумевал Найденков.

— Во, все ему разжуй да в рот положи. Что ж ты в таком случае ее Москвой не назвал? Москва Кузьминишна — ишь как звонко!

— Неловко как-то.

— То-то и оно, что неловко. Есть имена, которые беречь надо пуще глаза. Или, на худой конец, как

праздничную рубаху. Начни ее трепать и в будни, и в праздники — живо замыгаешь!..

И вот ведь — накудахтали старые, напорочили. Когда маленькой Берегине Найденовой исполнилось пять лет, она неожиданно пропала. Куда ребенок может деться в деревне? Здесь все на виду. Не город, не дремучий лес — чистое поле вокруг. А Найденовы с ног сбились, всех соседей обежали, во все колодцы заглянули, не свалилась ли ненароком, — нигде нет девочки. Мать и братья ходят зареванные, у отца тоже скулы заострились. Мужики поднялись на помощь, пруды и речки бреднем обшаривают, школьники прохожих-поезжих расспрашивают.

Ночь на дворе, а Ключевка наша не спит, вся округа горит-сверкает от фонарей и автомобильных фар. Но если не нашли днем, ночью разве найдешь?..

А утром пастух из соседней деревни рассказал, что видел в поле незнакомую женщину с маленькой девочкой, и вроде похожа была та девочка на Берегиню Найденову, учителеву дочку.

— А что за женщина?

— Да я сначала подумал, что это мать с девочкой идет, — виновато говорил пастух, — вот и не обратил внимания...

Старухи и зашептались: это же Берегиня увела девчонку! Предупреждали ведь, что нельзя давать ей такое имя, — не послушался отец...

Нашел сестренку один из братьев. И не где-то в поле, а почти возле дома, на стогу сена. Уткнулась лицом в кулачок и спит, а в кулачке васильки зажаты.

Оказывается, девочка собирала за огородами цветы, да испугалась большой собаки. Спряталась она от нее во ржи, шла-шла и заблудилась...

Народу в избу к Найденовым набилось — не протолкнуться. Особенно много ребятишек.

— А собака-то какая — черная, рыжая? — любопытничали они.

— Лохма-атая собака, — рассказывала девочка. — А голова у нее, как у человека: усатая...

Мальчишки, а за ними и взрослые, улыбнулись: мало ли что ребенку со страху померещится! А потом кто-то догадался: ведь это наверняка был Сима Заноза! Молодые огурчики пошли, вот он и сторожит огород. Тузик его на мальчишек не лает, они его приручили, так Сима что придумал: наденет вывернутую шубу, встанет на четвереньки и брешет по-собачьи...

И пошли разговоры, шутки, смех!

— Охо-хо, — вздыхали старухи. — То сами боимся, то других пугаем, а доброе слово и молвить некогда...

— Берегинюшка, ну а как же ты домой пришла? — спрашивала мать, поминутно целуя дочку и не спуская ее с колен.

— Меня тетя привела.

— Какая тетя?

— Не знаю... Я шла и плакала, шла и плакала, а кругом рожь и облака... Потом тетя взяла меня за руку и привела к нашей деревне. Дальше, говорит, ты одна добежишь, а то я на автобус спешу. Вот и все.

Больше девочка ничего не помнила — видать, заспала.

— А какая из себя эта тетя лицом? — все допытывалась мать.

Девочка наморщила лоб, потом оглядела людей, горницу, задержалась взглядом на плакате «Родина-мать зовет!» и сказала:

— Вот такая... Только платье на ней было другое. Зеленое-зеленое, цветочками...

Долго в тот раз засиделись люди у Найденовых. Пили чай с огородной мятой — кто из чашек, кто из стаканов, кто из железных кружек — и вспоминали разные истории. Конечно, рассказывали и про Бере-

гиню. И только сам хозяин помалкивал, внимательно слушал всех да поглаживал на затылке вихорок, похожий на петушиный хвост. Я подумал, что в детстве наверняка его дразнили Петухом за этот вихорок, и хотел уж было спросить, так ли это. Но Кузьма Николаич заговорил сам — и опять про Берегиню.

— Сказки сказками, а ведь меня когда-то тоже Берегиня спасла, — застенчиво улыбнулся он. — И добру научила, и в люди вывела... Если хотите, расскажу.

Мы, конечно, хотели, особенно ребятишки, и Найденов стал рассказывать.

— Все вы знаете наш старинный Дедославль. Городок как городок, тихий, деревянный, только и знаменит своим базаром да репчатым луком. После войны на этом базаре шныряло много малолетних беспризорников. Играли в карты, клянчили у мужиков махорку, дрались, воровали у зазевавшихся торговков картофельные лепешки и яблоки. В общем, вольница: что ни хватать — то еж да ерш.

И только когда на базаре появлялась седая женщина в солдатских ботинках и с суковатой палкой в руках, беспризорники разбегались кто куда. У них перед ней был прямо-таки суеверный страх. Если кто-нибудь из сорванцов попадал к этой женщине в руки, то она его уж не отпускала. Посмотрит в глаза — и становится недавний «ежик» тихим да смирным, гладь его хоть по шерсти, хоть против шерсти — не уколешься. Уведет с собой — и на одного беспризорника на базаре становится меньше.

Мальчишки узнали, что живет она в Темном переулке, в большом деревянном доме под номером тринадцать. «Ну и адресок, — шептались они, — в самый раз для такой ведьмы».

А жители городка прозвали эту женщину Берегиней...

Вскоре среди беспризорников прошел слух, что в Дедославле открылся интернат для детей погибших

фронтовиков. Принимали туда мальчиков от семи до одиннадцати лет. Но где бы вы думали? В том самом Темном переулке, в доме номер тринадцать! Потом они разузнали, что Берегиня отдала свой дом интернатовцам под общежитие. Отдала вместе с садом и огородом, а сама стала работать у них поварихой. Была она одинокая: муж и четверо сыновей погибли на фронте...

Темный переулок вполне оправдывал свое название. Он, по-моему, и сейчас освещается всего двумя фонарями, а после войны там вообще было гиблое место. Среди драчунов мальчишек даже ходила грозная поговорка: «Погоди, я тебя встречу в Темном переулке!»

А тут еще прошел слух про какую-то таинственную Кузькину мать. Видать ее никто не видал, но страху было много. По ночам в переулке не раз слышались оглушительные выстрелы, а в пустой церкви светились окна. Да и по мелочи Кузькина мать безобразничала: то отрясет яблоки в саду, то утащит из погреба махотку с молоком. Это воровство больше всего возмущало местных хозяек.

«Небось молодцы из интерната чередят, — говорили они, — а сваливают незнамо на кого...»

И тогда педагоги вместе с интернатовцами решили выследить Кузькину мать и по возможности обезвредить. Вместе со всеми, прихватив суковатую палку, пошла и повариха. Ночь была темная, сентябрьская, моросил мелкий дождик. Все промокли, но никого, конечно, на улице не встретили, не слышали и выстрелов, не видали и огней в старой Никольской церкви. Правда, в церкви Берегиня споткнулась о какой-то комок, похожий на свернувшуюся собачонку. Комок пискнул и бросился бежать, она его схватила и на руках принесла в интернат. На свету разглядели, что это маленький человечек неопределенного возраста, весь лохматый и грязный, в длинных, подвязанных у самой шеи штанах.

«Кто ж ты будешь-то, горюшко?» — вздохнула Берегиня.

«Кузькина мать!» — бойко отвечал человек.

Что тут было смеху! Когда человечка остригли и вымыли, то он оказался мальчиком лет семи. А в кармане его широких штанов нашли самодельный пистолет-пуґач, который стрелял головками от спичек. Именно своего мальчик не помнил, Кузькина мать — и все тут. Всю жизнь скитался он, где придется: то в цыганском таборе, то по деревням водил слепого нищего...

Но человек не может жить без имени. И назвали мальчика Кузей, а по отчеству — Николаевич, поскольку нашли его в Никольской церкви. Ну а фамилия — Найденов.

Хотя и дали ему люди имя, но прозвище не забыли. Потому что новый воспитанник оказался колючим, как репей, и постоянно задира́л товарищей. Как-то он подкатился к самому длинному подростку, Степке Обломей, и на виду у мальчишек нахально заявил: «Эй, ты, дылда, давай поборемся! Что, боишься?»

Обломей и правда вдруг отчего-то оробел, может, от нахальства этого заморыша. Зато интернатовцев это зрелище развеселило.

«Правильно, Кузя, — подзуживали они, — покажи ему Кузькину мать!»

А Кузя совсем распоясался, уже на повариху стал покрикивать, чем вконец разобидел ее. Даже ее знаменитый взгляд на него не действовал.

Однажды, когда по базарной привычке Кузя стащил с чужого стола кусок хлеба, Берегиня схватила его за шиворот и привела в кухню. Мальчик даже не пикнул — так испугался. А она поставила перед ним большую черепичную миску с кашей и четыре стакана компота.

«Ешь, заморыш! Не осилишь, я тебе покажу Кузькину мать!»

А глаза у женщины были совсем не злые, скорее

печальные, и Кузя снова осмелел. «Чего брешь-то? Не на того напала!»

Долго из кухни слышалась из взаимная перебранка, и с того дня они подружились.

Но для Кузи начались новые неприятности: его стал допекать Степка Обломей.

«Кузя, а сам-то ты видал свою мать?» — ехидно спрашивал он.

Об отце Кузя хоть знал, что он у него погиб на войне, а о матери слыхом не слыхивал — ни словечка. У других ребят (у того же Степки) отцы тоже погибли, но на выходные многие разъезжались по окрестным деревням — к своим мамам. А Кузю никогда никто не брал из интерната, хотя подарки к праздникам он получал: то кулек румяных яблок, то новые сандалии... И он втайне подозревал, что подарки присылает мать. Передавала она их всегда через Берегиню.

«Знаешь, почему тебе мать на глаза не показывается? — говорил ему Обломей. — Страшная она очень: посмотришь — скулы сведет».

Кузя и верил Обломею, и нет. Очень уж хотелось ему повидать маму. Пусть какая ни на есть страшная, он бы все равно ее стал любить. Лишь бы показалась...

А Обломей продолжал изгаляться. Как-то он вымазал лицо сажей, зубы длинные в рот вставил (из сырой картошки вырезал) и вечером стал царапаться в окно, как раз напротив Кузиной кровати. До слез напугал мальчишку! А утром Кузя проснулся от хохота. Хохотали все ребята, какие жили с ним в одной комнате, а больше всех — Обломей. Оказывается, над Кузиной кроватью висела картинка из журнала — волосатая обезьяна с уморительной гримасой на лице. И под ней чернильным карандашом было нацарапано: «Кузькина мать».

Долго не мог мальчик оторвать взгляда от картинки, даже ребята притихли. Никто и не заметил, как вошла Берегиня.



«Какая же это Кузькина мать? — сказала она, посмотрев на картинку. — Это, Степка, скорее всего твоя бабушка, вернее пра-пра-бабушка».

«Гы-гы!» — ухмыльнулся Обломей.

«А чего ты гыгыкаешь? Вон учителя говорят, что все мы произошли от обезьяны. Вот и выходит, что это наша общая пра-пра-бабушка, и твоя, Степка, тоже. А мать у тебя есть, сынок, — повернулась Берегиня к Кузе. — Есть и портрет ее у меня, с войны еще берегу. Подожди минутку, сейчас принесу...»

Кузя не успел рта открыть, как Берегиня, по-молодому повернувшись, быстро вышла. У мальчика от волнения даже бисеринки пота на носу выступили.

Вернувшись, Берегиня сорвала со стены обезьяну («Возьми свою прабабушку, Степка!») и прикрепила на ее место старый военный плакат «Родина-мать зовет!». На мальчишек с плаката смотрела седая женщина в красном платье, со светлым и скорбным лицом.

«Вот твоя мама, Кузя! Она всегда о тебе помнит. Много у нее таких соколиков, как ты, и всех обогреть-приласкать надо, в люди вывести. Так что учись лучше, ешь больше, физкультурой занимайся. Быстрее вырастешь да поможешь ей, великой труженице...»

...— С той поры я и храню этот плакат, — закончил свой рассказ Кузьма Николаич. — Ведь это наша самая главная Берегиня. Потому и дочку свою так назвал...

Плакат «Родина-мать зовет!» и сейчас висит в горнице у Найденовых. Мальчишки сделали для него новую красивую рамку с красными звездами по углам. А жена Найденова повесила на рамку вышитое полотенце — так у нас в деревне украшают портреты родителей.

Маленькая Берегиня Найденова, кудрявая и тонкая, как молодая ветелочка, растет веселой и доброй.

Она любит ходить с подружками на берег Непрядвы. Девочки собирают луговую клубнику или плетут венки из цветов и украшают ими большой валун, похожий на каменную лошадь. А то возьмутся играть в прятки в высокой густой траве.

— Берегиня! — кричат подружки.

— Ау! — откликается девочка.

Но не только девочка. На их зов откликается и старая ветла — тихим шелестом листьев, похожим на материнский ласковый голос.

## ГРАМОТЕЙ ФИЛЬКА

В давние времена жил на Куликовом поле один грамотей — Филька Крючок. Странно, конечно, но я уверен, что видел его в детстве собственными глазами и даже разговаривал с ним. Он еще загадывал мне загадку:

— Мал малышок, а мудрые пути людям кажет.

Отгадал ли я эту загадку уже тогда или позже — не помню. Но зато хорошо помню внешность этого человека. Все у него было крючком: и нос, и спина, и пальцы на руках. Даже носы у дырявых сапог крючком. К верхней пуговице обтрепанного плаща его был привязан холстинный мешочек размером с рукавицу, в котором хранились школьная чернильница-непроливайка и деревянная ручка с пером «рондо».

— Откуда же ты его помнишь? — удивилась мама, когда мы недавно разговорились с ней о старинном житье-бытье. — Ведь Филька Крючок жил, когда тебя еще и на свете не было, а я была совсем маленькой девочкой. Все правильно ты про него рассказываешь, только в холстинном мешочке носил он не чернильницу, а пузырек, и писал не ручкой, а настоящим гусиным пером. Он еще про это перо загадку загадывал: «Мал малышок, а мудрые пути людям кажет».

Но почему же я уверен, что сам видел старинного грамотея? Не бессмертный же он, этот легендарный Филька! А мама между тем продолжала рассказывать:

— Как-то проезжал через Куликово поле поэт Жуковский, воспитатель царского сына. И сломалось у его кареты колесо. Пока мужики ремонтировали карету, Жуковский зашел в крайнюю избу отдохнуть. А там мальчишка сидит на лавке, лубочные картинки рассматривает. «Грамоте разумеешь, отрок?» — спрашивает Жуковский. «Не...» — «А хочешь научиться?» — «Да...»

Показал поэт мальчишке буквы. А тот до того памятный оказался, что пока мужики колесо отремонтировали, Филька уже все буквы знал и даже писал понемногу. Жуковский очень удивился способностям мальчугана, а мужики — способностям Жуковского. «Надо же, — говорили они, — в один присест огольца грамоте обучил. Вот что значит умный человек».

Поэт уехал, а мужики все дивились. И потом, если нужно было написать письмо в город или жалобу в суд, люди шли к Фильке, с гордостью показывали его бумагу: «Филькина грамота!»

Даже самый древний старик по прозвищу Живая Память, которого все в округе считали вещим колдуном, признал Фильку равным себе, хотя сам-то был неграмотным. Правда, признавать-то он его признавал, но и своего достоинства не терял. «По старой памяти, что по грамоте», — говаривал он мужикам. И те согласно кивали головами: ведь старик помнил буквально все, что знали наши деды и прадеды. Когда же он умер, за советом стали ходить к Фильке. Только что он мог посоветовать? Ведь жизни-то малый не знал! И мужики, выслушав его, делали все по своему разумению, но уважали все так же.

«Грамота не соха», — быстро сообразил Филька. За его письма несли ему люди и яйца, и мед, и сапоги дарили с одеждой. И зажил Филька припеваючи.

А вскоре совсем барином стал: помещик, которому принадлежала деревня, укатил жить в Петербург, а Фильке назначил жалованье и сделал его своим управляющим. Малый купил узорный жилет, отпустил усы и развернулся в полную силу. Уже не советовал он, а учил мужиков, как надо жить, писал и вывешивал на пожарную доску свои грамоты рядом с царскими указами. Хорошо, что мужики не умели читать. Как-то собрались они у пожарной доски, разбирают по слогам Филькины советы-поучения:

«Каша с маслом не в пример вкуснее каши без масла».

«Сапоги дольше не протрут, если их реже надевать».

«Подними, что найдешь: в хозяйстве пригодится и крысиный хвостик».

«В кафтане без рукавов холоднее, чем в кафтане с рукавами, но зато он дешевле...»

«Маленькая рыбка лучше большого таракана...»

Читают мужики, чешут в затылках да посмеиваются потихоньку. Вроде представления скоморохов вышло: вся деревня собиралась у пожарной доски.

Неизвестно, сколько еще мудрил бы так Филька. Но тут в его судьбе все пошло наперекосяк. Помещик в Петербурге проигрался в карты, имение продал, и Филька из барского дома снова перешел в мужицкую избу. Так и жил он — ни пава ни ворона. И барином не стал, и к крестьянскому труду не привык. От былой его славы остался только пузырек с чернилами да гусяное перо.

А мужики хоть и посмеивались над ним, но все-таки жалели. И если нужно было написать деловую бумагу или важное письмо, шли к Фильке, давали ему возможность заработать. Да и почерк его нравился мужикам — заковыристый, с замысловатыми крючками и завитушками. Так и коротал Филька свой век.

— Да, — заключила мама свой рассказ, — каким грамотеем ни будь, а умнее народа не станешь...

А я теперь все больше склоняюсь к мысли, что Филька с его грамотой — досужий вымысел наших мужиков. Придумали они его для ребятишек — на забаву и в поучение. И так убедительно рассказывают, будто видели того Фильку собственными глазами.

## ДУША ИЗБЫ

Утром Колька и бабушка Фрося идут в старую избу — прибраться. Прошлой осенью бабушка перешла жить к нам, в новый дом, и старая избушка — наше родовое гнездо — опустела. Ломать ее не стали — чего там из нее наломаешь? Пыль одна да гнилушки. А чтобы не пустовала зря, забили ее сеном и овсяной соломой. За зиму корова и овцы съели все до клочка — и сено, и солому — и вот теперь бабушка и Колька шли сюда подмести сенную труху, пугнуть мышей да открыть дверь пошире, чтобы изба подышала свежим весенним воздухом.

— Ну, здравствуй, подружка, — сказала бабушка, снимая дверную цепочку. — Проведать тебя пришли...

— Это ты с кем говоришь, бабань?

— А с избой, Коля.

— С избо-ой... — недоверчиво смотрит на нее внук и вдруг спрашивает: — А домовой тут уже не живет?

— Сам ты домовой! — смеется бабушка.

Она открывает дверь, в которой выпилены два лаза — внизу и вверху. Внизу для кур, это Колька знает, а вверху для кого?

— Для ласточек, — говорит бабушка. — Видишь, возле трубы, на стропилах, гнезда прилеплены? Вот там они и жили. Прилетят ли в этом году — один бог знает...

— А почему не прилетят?

— Все живое к человеку жметя... А избушка наша опустела.

Бабушка разыскала веник и стала обметать окна, стены, собирала с пола мякину. Колька ей помогал. Время от времени он останавливался и прислушивался к таинственным шорохам и скрипам, которые доносились из темных углов. Колька, крадучись, заглядывал туда и шептал:

— Ага, вот где ты спрятался?

Но под руки ему попадались то дырявый валенок, то разломанные салазки, то хороший еще ухват для чугунов.

Прибравшись, бабушка о чем-то задумалась и сказала негромко:

— Печку, что ли, затопить...

— Давай, бабань, затопим! — обрадовался Колька. — Пусть домово́й прогреется...

Последние слова он сказал совсем тихо, для себя, и бабушка их не слышала. Затопили они печку, но дым почему-то не хотел идти в трубу, а полз через шесток в избу и плавал синими невесомыми ломтями.

— Всю зиму не топилаь, — разговаривала бабушка с печкой, — отсырела, матушка, вот и дымишь. А может, труба засорилась? Выбеги, внучок, глянь — идет ли дым-то?

Колька выбежал на улицу, отошел подальше в проулок, чтобы лучше былъ видно, и посмотрел на трубу: дым шел — легкий, невесомый. И ветер шевелил его, словно седую прядку волос. А изба глядела на Кольку из-под шиферного козырька, как бабушка из-под руки. Мальчишка чуть не подпрыгнул от такого открытия. Повертел он головой налево-направо и видит: каждая изба в деревне смотрит на мир по-своему.

У Беловых, которые построились совсем недавно, окна с голубыми наличниками распахнуты широко и удивленно, как глаза у только что проснувшейся де-

вочки. Изба Макарихи глядит с ехидцей, словно хочет сказать: эге, голуби, я все про вас знаю! А новые дома из серого кирпича, в которых живут колхозные молодые специалисты, ну точь-в-точь любопытные мальчишки в школьной форме.

Колька и про дым забыл, побежал к бабушке рассказать про избы.

— Говоришь, наша смотрит, как старушка из-под руки?

— Ага.

— Это она сейчас сгорбатилась, а когда-то была просторная, глазастая — в шесть окон, — вспоминает бабушка. — Да еще седьмое окно в проулок выходило, на закат... Ох и натерпелась я страху из-за этого окна!

— Расскажи, бабань!

И Колька устраивается рядом, смотрит на огонь в печке, от которого тянет приятным теплом, слушает неторопливый бабушкин рассказ, похожий на занятную сказку.

Давным-давно, когда бабушка была еще маленькой девочкой, жили в этой избе домовитые люди — Михайла да Аксинья Курносовы. Михайла плотничал, к этому же приучал и многочисленных сынов. Аксинья слыла знахаркой, чуть ли не колдуньей, и многие ее побаивались. Но в лихой час все-таки шли за помощью: она умела вправить вывих, лечила переломы, простуду, заговаривала зубную боль.

Как-то по весне девушки и парни за избой Курносовых играли в лапту. Фрося была ловкая, длинноногая, и в лапту играла отлично. Все братья Курносовы тоже были здесь. Погналась Фрося за старшим, Андреем, хотела осалить, а он пригнулся — и... мяч полетел в окно, что выходило на проулок. Зажмурилась Фрося от страха, ждет, когда стекло звякнет... Но все вроде тихо. Открыла глаза, а под окном на скамейке Ак-

синья-колдунья сидит и мяч у нее в руке. После девушки рассказывали: «Подняла Аксинья рукав — мячик так и прыгнул в него, словно прирученный».

Смотрит Фрося на Аксинью, а та улыбается:

— Пойдешь, девонька, ко мне в снохи? Видишь мячик-то — это судьба твоя ко мне в руки прыгнула. Семь сынов, семь женихов — выбирай любого.

Засмущалась Фрося, убежала. Она и не думала тогда о замужестве, шестнадцать лет ей всего было. Но вскоре вышло так, как сказала Аксинья: стала Фрося женой Андрея и перешла из своей тесной хибарки жить в избу о семи окнах.

Работы в семье было много. Придут парни в субботу из бани — одних рубах сразу семь штук кинут: стирай, Фрося! Но работы она не боялась, все делала легко, с песнями, и братья полюбили ее, как сестру. И когда-то пугавшая ее изба стала для Фроси родной, привычной. Теперь, когда она возвращалась с поля, ей казалось, что изба улыбается всеми своими окнами — широко, по-матерински.

Нравились Фросе долгие зимние вечера, когда всей семьей собирались вокруг керосиновой лампы и каждый занимался своим делом: кто валенок подшивает или ложку из чурки выстругивает, кто прядет, кто сказки рассказывает. В один из таких вечеров и услышала она сказку про двух братьев, которую рассказал свекор ее, Михайла...

Жили два брата-крестьянина. У каждого свой дом, своя семья, свое поле. Пришла весна, поехали братья пахать. Старший работы побольше видел, к труду привычен — идет за лошадкой да песню поет. А младший с завистью думает: «Что ему не петь? У него лошадь белая, а моя черная. Белой не так жарко под солнцем, вот она и пашет легче, веселее...» Постепенно стало ему казаться, что и камней у него на поле больше, и земля тверже, а брат поет лишь затем, чтобы над ним поиздеваться. Схватил он тогда камень



и с ненавистью бросился на старшего брата. Но споткнулся в меже и упал замертво. А старший долго раздумывал потом, для чего младший брат мертвой хваткой держал в кулаке камень... Да так и не догадался...

Притих Колька, глядит на огонь в печке... Умолкла и бабушка: хватит пока для внука и этой сказки. Она сама над ней вот уже больше полувека раздумывает, а понять не может: откуда берется черная злоба? Почему люди пускают ее в сердце свое?

А старая изба поскрипывает разохшимися стропилами, что-то шепчет ворчливо отсыревшей печной трубой... Много видела она на своем веку, много пережила. Горела не раз — за то, что хозяева первыми в колхоз вступили. Но народ в ней жил мастеровой, рукодельный, и избу быстро отстраивали заново.

Говорят, беда в одиночку не ходит. Перед самой войной безотказный Михайла простудился на лесозаготовке и за неделю истаял. Следом за ним пошла и Аксинья. «От тоски», — определила деревенская медичка.

В нерадостный год стала Фрося хозяйкой в избе. Сначала Андрея, мужа своего, а потом и всех его братьев по-матерински собирала в дорогу, провожала на фронт. И осталась изба стоять вылуценным колоском. Да и то недолго: то чужие бомбы лупят, то свои снаряды — разве устоишь? Уцелела от избы только задняя стена да печка — словно большое теплое сердце ее. А потом снова выжила изба. По кусочкам собранная, где глиной, где навозом подмазанная, но стоит, ждет хозяина! А хозяин пришел с войны весь израненный (из семи братьев уцелел только он), и вскоре проводила его изба в последний путь...

Дочь и сынишку Фрося поднимала на ноги одна. Не успела оглянуться — бабушкой стала. Три долгих зимы пустовала заколоченная изба, тоскливо глядя

пыльными стеклами окон в щели между досками. Но вернулась хозяйка, которая ездила в город к дочери нянчить внука, и избушка, вычищенная и побеленная, словно бы помолодела.

...— Бабань, ты задремала?

— Нет, Коля... Задумалась просто.

— Чего у нас печка-то впустую горит? Давай картошки напечем, что ли.

— А и правда. Беги в погреб, принеси.

Колька тут же сбегал в погреб, расположенный рядом, в проулке, бабушка аккуратно поклала картошки в огонь, и они стали ждать, когда поспеют «печенки». А за окнами заметно потемнело, и вскоре хлынул дождик, да такой сильный, что все живое с улицы кинулось прятаться — кто куда. В сенцы набились куры с петухом, заскочил где-то бродивший пес Узнай, запыхавшись, вбежали Маша и Ванюшка Филиппов — оба с портфелями, из школы шли.

— Ну и ливень! — приговаривала Маша, отряхивая с плаща и с непокрытых волос блестящие капли. — Первый в этом году.

— Теперь трава попрет, — сказал Ванюшка, взглянул на Машу, и они неизвестно чему засмеялись.

Следом за ребятами в избу ввалилась Дуська Макариха.

— У-фф! Так и хлещет, так и хлещет! Здравствуй-те! — затараторила она. — А я, тетя Фрось, гляжу — у тебя печка топится. Ай, думаю, на лето в свои хоромы решила перебраться?

— Нет, Дуся... Просто прибираемся здесь, мышей пугаем. Да вот дождичка бог послал и гостей. Сейчас «печенки» поспеют, садитесь-ка поближе к печке. Не зря она дымила, матушка, — дождь чуяла.

Колька вертелся возле Маши с Ванюшкой и вдруг притих. Он отчетливо услышал, что в чулане кто-то бегают. Кто-то маленький и проворный, судя по частым

шагам: топ-топ-топ, топ-топ-топ... Он прижался к сестре, показал глазами на чулан и громко прошептал:

— Маша, слышишь? Это он бегает...

— Кто он?

— Да домовый-то... Давай посмотрим?

Маша улыбнулась, вспомнив, что еще зимой рассказывала Кольке про домового, маленького старичка, лысого и бородатого, который живет на чердаке, а по ночам спускается, бродит неслышно по горнице, в сенцах и очень огорчается, если видит где-нибудь непорядок. А когда избу бросают, уходит и домовый. Но стоит хозяевам возвратиться, как домовый снова поселяется на чердаке. Колька слушал тогда вполуха, задремывал посредине рассказа (он болел ангиной), но вот запомнил!

— Он вернулся, — снова сказал Колька. — Ишь, топает...

И Маша тоже услышала, что кто-то словно бегает в чулане. Затем вдруг в углу у окна — топ-топ, топ-топ... Оглянулась — никого. Ей даже немножко жутко стало. Но Ванюшка уже влез в чулан и крикнул оттуда:

— Это же капли! Крышу пролило!

Вскоре набухшая крыша стала протекать и в других местах, и ребята принялись подставлять под капель разную посуду, которая оказалась под рукой: старый тазик, ведро, жестяные и стеклянные банки... Изба наполнилась удивительной музыкой: шлепаньем, звоном, плеском, бульканьем! Особенно голосистым оказался тазик, звон от которого — зиннь! зиннь! — долго не таял в воздухе.

Колька даже приплясывал, слушая эту необычную музыку.

— И про домового забыл! — улыбнулась бабушка, глядя на внука.

— Какие-то домовые... — сказала Макариха. —

Не слушай ты их, Колька. Нет никаких ни леших, ни домовых.

— Есть домовой! — возразила Маша. — Как поэтический образ. Домовой — это душа избы.

— Ох и детки растут умные! — громко рассуждала Макариха. — «Душа избы...» Тетя Фрося — вот кто душа избы. Пришла вот в свой родной угол — и жизнь вокруг нее закипела.

Макариха, наверное, разорялась бы и дальше, но бабушка Фрося нашла ей дело — посмотреть «печенки».

— Готовы уже! — возвестила та, разломив одну картошку, которую предварительно покидала с ладони на ладонь. — Ух и хороши! Солюшки немножко бы...

Соль в забытой деревянной солонке нашлась, правда, крупная, серая, но на это никто не обратил внимания. Все ели «печенки» и похваливали. И бабушке Фросе казалось, что никуда и не уходила она из своей родной избышки, живет здесь, как и раньше. И когда под крышей раздался птичий писк, она выглянула в сенцы: может, ласточки? Но это по-весеннему шумели и ссорились воробьи.

## ШУТИХА

Прямо какое-то повальное поветрие у нас в деревне — ломают русские печки! И места, дескать, печка много занимает, и пыль от нее в доме, и вообще — мешает. Обед можно и на газовой плите приготовить, а для тепла, хватит небольшой печки голландки.

Старики, правда, с русскими печками расстаются неохотно.

А в тех домах, где и молодежь и старики с характером, часто возникают горячие стычки, о которых потом говорит вся деревня. Так, например, случилось у бабушки Касатки. Вернулся из армии ее внук То-

лик. Ну и вроде бы жениться надумал, а невесту в тесную избу, где чуть ли не треть помещения печка занимает, приводить стесняется. Вот он и стал подъезжать к бабке: давай сломаем печку. А та — ни в какую.

— Какая же это жизнь без печки, касатик? Ведь от нее — живой домашний дух. Помнишь, поди, школьный стих: «Там русский дух, там Русью пахнет»? Во-он когда еще умные люди про печку писали. А ты — лома-ать...

— Во, Пушкина приплела! — удивился грамотный внук.

До того у них дошло, что Толик трубу тряпками заткнул — дым и повалил в избу.

— Чуешь, чем пахнет? — говорит он бабке. — Угаром, а не Русью!

— Умный ты малый, внучек, — Касатка отвечает, — да голова у тебя не с того конца затесана.

— У нее, у Касатки, вся жизнь с причудами да прибаутками, — судачили потом бабы.

И вспоминали недавний случай. Пришли к нам в деревню из Куликовки два паренька к знакомым девушкам. А тех дома не оказалось. Ребята повертелись-повертелись возле избы и уходить собрались. Вдруг слышат — на проулке за углом озорной девчончий голос частушку запел:

Дорогой мой, дорогой,  
Не хвались походкою:  
Ноги длинные, кривые,  
Голова махоткою!

— Твоя! — Один из них товарища локтем толкает. — А сказали, что дома нету... Спряталась от нас.

— Пусть прячется, — обиделся парень, — подумаешь...

А тут и другая девушка запела:

Мой миленочек лукав,  
Меня дернул за рукав.  
Я лукавее его —  
Не взглянула на него.

Кинулись ребята искать девушек, а их и след про-  
стыл. В проулке на бревнышке старушка сидит, за-  
дремала, видать.

— Бабуль, тут никого не было?

— Нет, касатики, никого не видала.

— Но ведь пели сейчас.

— Пели? Мне сквозь сон вроде тоже слыша-  
лось: мужики «По долинам и по взгорьям» горла-  
нили.

Пожали ребята плечами, на крышу посмотрели, в  
пустую кадушку заглянули — нигде никого. Только  
завернули за угол, а девушки им вслед сразу на два  
голоса запели:

Все ребята задаются:  
Я — жених, и я — жених...  
Трали-вали и так дале,  
И чихали мы на них!

— Ну, раз тут чихали на нас... Пошли, мы тоже  
ежики, — один говорит.

— Подожди, — другой шепчет. — Прямо фанта-  
стика какая-то... Очевидное-невероятное!

И показывает товарищу в дальний конец улицы,  
откуда идут их девушки. Не по воздуху же они пере-  
летели туда? Встретили ребята подружек, допрос учи-  
нили:

— Это вы в проулке сейчас пели?

— Да вы что? Мы с речки идем.

— Но ведь мы слышали ваши голоса! Вдвоем одну  
частушку пели: «Трали-вали и так дале...»

Девушки переглянулись и заподозрили что-то.

— А в проулке никого нет?

— Никого. Бабуля только дремлет на бревнышке.

— Ну, все ясно! Это она вас разыгрывала.

— Сразу одна за двоих пела? — не верят ребята.

— Касатка-то? — смеются девушки. — Да она одна за весь хор Пятницкого споет! Вы ее еще не знаете. Она весной бригадиру нашему по телефону указания давала. А голос изменила точь-в-точь, как у председателя. «Ты вот что, Михал Лукич, семьям фронтовиков в первую очередь огороды вспаши. Их и осталось-то у вас в деревне — по пальцам пересчитаешь. А начни с бабушки Касатки». — «Да кого я на трактор посажу? — бригадир кричит. — Все механизаторы заняты!» — «А сам на что? Садись на «Беларусь» — и паши. Всё!» И трубку повесила. К вечеру председатель приезжает в Ключевку, бригадира ищет, а тот огороды пашет. «Это ты молодец, Михал Лукич, что о семьях фронтовиков заботишься. А я вот до этого не додумался бы, честное слово». Тут только бригадир и смекнул, что по телефону с ним не председатель говорил, а кто-то другой. А Касатка стоит на меже, глядит на него своими зелеными глазами и смеется.

Да, бабушка Касатка озорничать любит. И все теперь в деревне с интересом ждут: как у них с печкой дело обернется?ломают или нет?

— У Толика характер-то бабкин! То трубу тряпками затыкал, а то, гляди, еще что-нибудь учудит, — говорит мне жена.

Сейчас она повеселела. А недавно мы тоже с ней маялись: ломать печку или не ломать? Вроде бы все ломают, на городской манер устраиваются. И в то же время жалко: все детство с печкой связано... Наконец решились: хватит сажу да копоть разводить, в воскресенье ломаем. Пошел я к соседям, позвал двух мужиков на помощь. Возвращаюсь, а дети мои — Ма-

ша с Колькой — забралась на печку, как в гнездышко, и сверху мультики по телевизору смотрят. А сами невеселые такие, будто с хорошим другом навсегда прощаются.

Так и пришлось мне тогда перед мужиками извиняться, а печка стоит у нас и по сей день.

Теперь к нам зачастили соседки.

— Ты уж позволь, Шуренка, пироги у тебя испечь, — просят они. — А то торговый хлеб оскоми-ну набил, домашнего пирожка захотелось.

— Да господи, в любое время! — приглашает их жена.

Однажды зашла на огонек и бабушка Касатка.

— Ломит поясницу третий день — к непогоде, что ли? — пожаловалась она Шуре. — Вьюги-то веют и веют, конца-краю нету...

— Ой, бабушка, я тебя вылечу! — говорит ей Шура. — У меня рецепт есть, когда была в санатории, у одной женщины списала на всякий случай. Кладешь в стакан свежее сырое яйцо, заливаешь уксусом. Через сутки все до капли растворится: и белок с желтком, и скорлупа. Мазь получится. Один-два раза поясницу натрешь на ночь — и всю хворь как рукой снимет.

— И-и, Шура, касатка моя, — закачала головой бабушка. — Я не то что яичко, а уж семь штопальных иглоков растворила этим уксусом. Тоже говорили — поможет. А все попусту, не берет мою хворь никакая мазь. Ты уж разреши на печке полежать, это для меня самое лучшее лекарство. Свою-то сломали мы: уговорил Толик, умаслил... Молодая мне кровать с кружевными подзорами поставила, перину положила, но разве все это сравнишь с печкой?

В тот день Касатка пригрелась у нас на печи, заснула, мы ее и будить не стали: пусть ночует. И теперь как завьюжит, поясница у нее занает — она к нам, на печку.



Но вот ведь какой человек — недужит, а без озорства не может. Под окнами то петухом запоеет, то погусиному загогочет.

Шура моя сегодня переполошилась: батюшки, гусей забыла загнать! Накинула полушалок, выбежала на улицу, а там никого... Обежала вокруг избы раз, два — нету гусей.

— Шура, ты кого ищешь-то? — Касатка спрашивает.

— Да гусей... Только что под окном гоготали, и вот как провалились.

— Мам, — Колька говорит, — да ведь ты их сама в хлев загоняла.

Шура уж и самой себе не верит. Заглянула в хлев, гуси и правда дома. Вернулась в избу, а Касатка уже на печке, что-то ребятам рассказывает и посмеивается. Ну как на нее сердиться?

Весь вечер Маша и Колька ушки топориком держали, бабушку слушали. Да и мы с женой далеко от печки не отходили.

Вспомнила бабушка, что лет пятьдесят назад таким же метельным февральским вечером отправился ее младший деверь Васек в Ольховку на вечеринку. Там у него ухажерка была. Как обычно, гармонь на плечо, лыжи на ноги — и покатыл. Возле лесочка стал на пригорок взбираться, глядь — неподалеку здоровая собака тоже на пригорок лезет. И все прыжками, прыжками... Васек остановился — и она встала. Васек вперед — и она двинулась. Тут и зашевелились у парня волосы: волк! С пригорка-то он на него сиганет — и поминай, как звали. Стоит парнишка, почти не дышит. И волк стоит. Уж замерзать оба стали.

«Эх, пропадать, так с музыкой!» — Васек-то думает. Да и заиграл на гармони. А волк поднял морду кверху и завыл. Так и простояли они до рассвета: Васек на гармони играет, а волк воет. Когда утром в Ольховке петухи запели (до нее уж рукой было по-

дать), волк убежал. И Васек еле живой домой вернулся...

— Вот какие события случаются, касатики мои, — заключила бабушка. — Так что возле Ольховского леса поосторожней будьте, в одиночку не ходите.

— Сейчас волков днем с огнем не сыщешь, перевелись, — говорю я.

— Да ведь это и не волк вовсе был, — откликается Касатка.

— Не волк... А кто же тогда?

— Вот и Васек потом все допытывался: кто да кто. Шутиха это была, вот кто. Она давно там себе местечко облюбовала.

— Какая шутиха, что еще за диковина? Расскажи, бабушка! — пристали Маша и Колька.

А Касатку уговаривать не надо — она сама любит поговорить.

— Какая шутиха, говорите? А это девка лесная. Проходят год за годом, а она все не стареет, все у нее шутки да балушки на уме. То зверьком каким обернется, то колесом тележным, а то начнет человека по лесу водить, пока тот из сил не выбьется. Вот так-то и с моим покойным Кузьмой было... Уж не помню теперь, зачем он пошел в Ольховский лес, что-то ему там понадобилось. Может, топорище новое выстругать.

Вот, значит, идет Кузьма опушкой, глядь — белый гриб в сторонке. Да такой крупный, осанистый. Подошел, а это валуй. Плюнул Кузьма с досады, сделал шага два — целый выводок белых увидал. Да все молодые, ядреные. Не выдержал, полез за ними в чащу. Смотрит, а перед ним вместо грибов листья березовые, пожелтелые. Стал он на дорогу выбираться, чертычается, а дороги все нет и нет. Час проходит, два — нету дороги, как провалилась! «Заблудился», — Кузьма думает. А где там блудить — лешишко шапкой пе-

рекинешь. И добро бы ночь была или туман, а то ведь белый день!

Остановился Кузьма и давай считать до тридцати трех. Его покойница-мать научила: «Как что у тебя не заладится — остановись и сосчитай до тридцати трех. Глядишь, господь бог тебя и надоумит». Сосчитал он, и в голове как прояснилось: ведь это же шутиха над ним мудрует! Только подумал так, а в стороне вдруг засмеялся кто-то и вроде коса девичья мелькнула. Оглянулся — никого, лишь березовые ветки качаются. А за березой опушка виднеется. Оказывается, он и блудил-то все время около опушки. Выбрался Кузьма на дорогу — и давай бог ноги, убежать скорей с гиблого места.

— Ба, а откуда она взялась, шутиха эта? — хитро спрашивает Колька.

— Ишь, какой вострый! — засмеялась Касатка. — Все тебе вынь да положь. Ну что ж, слушай, коли охота есть. Так ли было, нет — не знаю, сама не видела, а старики вот что рассказывали.

Давным-давно, в незапамятные времена, жил в нашей деревне плотник. Был он такой искусный мастер, что казалось, его руками водит неведомая сила. Делал он все, что ни заказывали односельчане: кадушки, стулья, грабли, деревянные чашки-ложки, даже трубки для курения.

Все шло хорошо, пока люди не заметили одну особенность: в вещах, изготовленных плотником, они стали узнавать самих себя! У охотницы до чужих секретов деревянный ушат обязательно оказывался с большими ушами, трубка у драчливого мужичонки была похожа на кулак, а у любителя повилять хвостом перед начальством стол стоял на четырех полусогнутых лапах...

Обиделись люди, что плотник читает в их душе, как в открытой книге, и перестали с ним разговаривать. А он тоже был гордый — ушел из деревни и по-

селится в лесу. Когда же плотнику пришла пора жениться, ни одна девушка из деревни не осмелилась стать его женой. Тогда он упал на колени перед лесной красавицей-елкой и протянул к ней руки:

— Выходи за меня замуж!

Елка и прошелестела ему что-то в ответ — тихо так да нежно. Встал плотник и подарил ей сережки от ясеня, а вместо брошки приколот лесной колокольчик.

Ожила елка, стала женщиной. Взял мастер ее в жены. Со временем родилась у них дочка, такая же красивая и стройная, как ель: с зелеными ресничками-косичками и с глазами, похожими на два блестящих зеленоватых леденца. А от плотника она переняла озорной характер, потому и прозвали ее люди — шутиха. С тех пор она и живет в лесу — вечно молодая, беззаботная...

— Охо-хо, заговорила я, — сладко зевнула бабушка Касатка. — Бывалыча, на посиделках по очереди рассказывали, друг перед дружкой старались, кто страшнее да заковыристее. Ну-ка, Маша, начинай, касатка... Аль, может, твоя очередь, Алексей? Да ты не задремал ли?

— Нет, — говорю, — детство вспомнилось...

— И-и, касатик, возле печки всегда так. Только уши пошире открывай, она нашепчет, что было и не было...

Проговорили мы в тот вечер долго — и про телевизор забыли! Да и какой телевизор заменит общение с живым человеком? Вот она, бабушка Касатка, ее переспросить можно, словечко вставить, даже поспорить, если с чем-то не согласен. Колька, например, засомневался, что шутиха действительно существует в жизни.

— Врут, поди, люди...

— Не хочешь слушать, как люди врут, ври сам! — засмеялась бабушка.

Смеялась она немного скрипучим, каким-то таин-

ственным смешком, будто тонкой струйкой сыпали и сыпали на пол каленый горох. А вскоре с печки послышалось тихое, почти детское посапывание: бабушка уснула.

Стали укладываться и мы.

— Мам, неужели правда шутиха на свете есть? — не унимался Колька.

— Правда.

— Живая?

— Конечно, живая. Вот она и есть шутиха, — кивнула Шура на спящую Касатку.

— Бабушка? — ахнул Колька. — Но она же старая совсем.

— Какая она старая... Это она притворяется старой. Ты заметил, какие у нее глаза? Молодые-молодые!

Колька примолк: чувствовалось, что он уже почти поверил матери. А я вдруг вспоминаю живые леденцовые глаза бабушки Касатки, вспоминаю, как она смеется, и тоже, как и сын, начинаю верить, что она и есть самая настоящая шутиха — дочь деревенского плотника и лесной красавицы елки.

## ЗАГОВОР

Приключилась со мной притча: не думал, не гадал — а в цари угадал! Взаясь рассказывать ребятишкам разные истории, а они меня за это царем Горохом прозвали.

Как-то зашел я в сарай за дровами, слышу — за стенкой ребячьи голоса: Витя Мокрый и мой Колька разговаривают. Витя хоть и постарше, но разговор у них идет на равных. Прислушался — обо мне!

— Колька, а почему твоего отца царь Горох зовут? — Витя спрашивает.

— Почему, почему... Он, когда маленький был, царя Гороха видел. Живого.

— Ври больше!

— Чего ври? Ты знаешь, что у нас на Куликовом поле целая деревня пропала — Гороховка? В старину она одна тут и стояла. Когда татарская орда шла на Москву, все на пути сжигала. Вот и Гороховку хотели сжечь. А она прямо на глазах пропала.

— Куда ж она делась?

— А я почему знаю. Говорят, до сих пор еще где-то тут стоит. Идет человек по Куликову полю, глядит — впереди дымок вьется и люди вроде бы разговаривают, петухи поют. Подойдет поближе — ничего нет, одна трава шумит.

А папка мой эту деревню видел. Он говорит: я тридцать лет про этот случай молчал, потому что все равно бы люди не поверили. Уж больно просто все вышло. Искал он лошадь да заблудился. Шел-шел по тропинке и зашел в какую-то деревушку. Там и было-то избы четыре или пять, не больше. А кругом тишина такая — жуть берет! Ни собака не тьякнет, ни петух не пропоет. Вот тут он его и увидал...

— Царя Гороха?

— Ну да, кого же еще.

— И какой же он, этот царь? — насмешливо шмыгал носом Витя Мокрый.

— Какой... Так, старичок. Зеленый весь — и волосы зеленые, и мундир. И пуговицы на мундире в четыре ряда, и все мелкие как горошины.

— Может, это дезертир какой скрывался, — предположил Витя.

— Сам ты дезертир! Слушай дальше. Папка ему говорит:

«Какой ты, дедушка, старый, весь мохом оброс, позеленел».

А царь Горох смеется:

«Старый месяц тож в дело идет — бог на звезды крошит».

Затем стал расспрашивать — кто ты, мальчик, да откуда, да что больше всего на свете любишь.

«Кашу с молоком люблю, — папка отвечает. — И еще сказки слушать. А как узнаю новую сказку, другим ее хочется рассказать».

Тут царь Горох обрадовался и хлопнул папку по плечу:

«Вот за это я подарю тебе свое имя! Только не сейчас, а когда вырастешь».

И видишь — не соврал!

— Ну а что потом-то было? — Витя спрашивает.

— А ничего не было... Очнулся папка, глядит, а перед ним вместо деревни — копны гороховой соломы в долине стоят. И сам он сидит возле копны, а рядом с ним лошадь пасется. Обратал он ее и домой приехал.

— И все?

— И все.

— Да, врать ты умеешь.

— Врать? Да мне все это сам папка рассказывал! Почему же, ты думаешь, у нас в огороде такой крупный горох родится? И бобы, и морковка. Царь Горох папке тайное слово сказал — вот почему.

— Тайное слово... — протянул Витя. — Просто семена такие. Болтун он, твой царь Горох!

— Это ты про кого?

— Да про твоего отца!

— Он тебе не царь Горох, а дядя Леня, понял? — Колька, слышу, злится. — Научись сначала нос вытирать... Мокрый!

Эге, думаю, дело дошло до перепалки — как бы не подрались. Вышел я из сарая.

— Хотите гороху, ребята?

Они даже вздрогнули от неожиданности. Не поймут, откуда я взялся: с неба свалился или из-под земли вырос. А я достаю им из кармана по большей горсти каленого гороху. Витя сжался весь, а Колька молодым петушком смотрит: отец рядом! Постоял я с

ними, поговорил, потом попросил помочь мне дрова в поленницу сложить.

— Да мы одни сложим, дядя Леня! — подхватился Витя.

— Ну, спасибо. А я пока калитку починю.

Складывают ребята дрова, смеются чему-то: вижу, помирились. Витя старается побольше охапки набирать, чтобы Кольке полегче было. А тот тоже за ним тянется, не уступает. Непростой он человек, этот Витя Мокрый. Парню уже двенадцать годов, а он все носом шмыгает, как маленький.

— У меня хронический насморк, — говорит.

И правда, что с мальчишкой только не делали: и капли в нос закапывали, и ультрафиолетовыми лучами прогревали, и ноги мать ему в горчице парила — ничто не помогает. Как с малолетства намокло под носом, так и не просыхает. Товарищи, ясное дело, подшучивают над ним. Вот он и водится с малолетками или возле мужиков вертится. А в последнее время зачастую к нам на стройку. То возьмется мне помогать кирпичную стенку выкладывать, то схватит топор, бревна вместе с плотниками тешет. Как-то сидим мы с ним вдвоем на лесах, глядим — девчонки мимо идут, Витины ровесницы. Все в цветастых платицах, с венками на головах... Увидели Витю, кричат:

— Эй, Мокрый! На солнышке сохнешь?

Гляжу, у парня аж скулы побелели от обиды, он и давай щепками кидаться.

— Разве можно так с женихами разговаривать? — я девчонкам кричу, стараюсь все в шутку обратить.

А одна из них, черноглазая, постарше всех какая, смеется:

— Здесь только один жених, это вы, дядя Леня!

Ах ты, думаю, малявка — зеленые крылышки... Погрозил я им пальцем, девчонки убежали, а Витя совсем сник. Жалко мне его, а чем поможешь?



— Витя, — спрашиваю, — ты ведь слышал, что в деревне говорят про мою мать, бабушку Фросю?

— Про колдунью, что ли?

Сказал он это — и осекся. А я вроде не замечаю его смущения.

— Ну да, ее бабы колдуньей считают. Может, зря, а может — нет. Ворожить она, конечно, не умеет, а вот старинные заговоры знает. И я кое-чему у нее научился. Например, знаю один очень хороший заговор от хронического насморка.

Витя шмыгнул носом, сплюнул сквозь зубы и посмотрел на меня, как на дурачка: дескать, что ты мне, дядя Леня, голову морочишь? А вслух сказал:

— Заговор какой-то... В них только темные люди верили еще в старое время.

— Не скажи. И в старое время люди были не дураки. Больниц тогда не было, но ведь как-то надо было лечиться. Если хочешь, приходи завтра утром, до восхода солнца, к Гремячему ключу. Я заговорю твой насморк. Только чур! — никому ни слова...

Вечером я завел будильник, чтобы не проспать. А сам все думаю: придет Витя или не придет? Главное — чтобы он поверил. А там, глядишь, организм сам с болезнью справится...

Гремячий ключ расположен за деревней, на краю оврага. Когда-то там, говорят, рос большой дуб, в который однажды ударило молнией. Дуб сгорел, а из-под корней его пробился родник — Гремячий ключ.

Прихожу туда, а Витя уже на месте. Съежился от утреннего холодка, сидит на камне у родника, голову в плечи втянул. И куда вся его бравада делась! Увидел меня — обрадовался. Наверное, не верил, что я приду, думал, посмеюсь над ним, только и всего. А я поздоровался за руку, спрашиваю:

— Тебя никто не видел?

— Никто, — шепчет.

— Хорошо...

Велел я ему умыться из родника, затем сам умылся. И как только солнце выглянуло из-за горизонта, я повернул мальчишку к себе лицом, положил ему на плечи руки, посмотрел в глаза, немного испуганные и любопытные, и стал вслух читать заговор:

Земля моя, мати,  
Дохни на меня теплом,  
А на мою болезнь —  
Холодом.  
Спрячь мою болезнь  
В золотую кубышку,  
В просяное зернышко,  
На самое-самое донышко...  
На белом свете  
Красное солнце  
Черную землю греет,  
А мое тело  
С каждой минутой  
Здоровеет,  
Здоровеет,  
Здоровеет!

Я повторил этот заговор несколько раз и заставил Витю повторять, пока он не выучил его наизусть.

— А теперь запомни, что ты должен делать дальше. Закрой рот, вдохни неглубоко, выдохни. Задержи дыхание — и повторяй мысленно заговор. Затем — все снова. И так тридцать три раза подряд. Будешь проделывать все это каждый день на восходе солнца.

— И всякий раз к роднику приходиться?

— Необязательно. Через неделю у тебя весь насморк как рукой снимет.

— Но ведь он хронический...

— И хронический пропадет!

У Вити восторженно и благодарно заблестели глаза. Когда он по привычке дышать с паузами, как я его учил, мы отправились по домам.

— Дядя Леня, а вроде уже легче дышать стало.

— Все будет хорошо, Витек! Заговор-то старинный...

Не знаю, то ли подействовала система дыхания, о которой я вычитал в журнале «Здоровье», то ли Вите очень хотелось избавиться от насморка, но болезнь его постепенно прошла. Правда, прозвище Мокрый за ним так и осталось. Но оно уже не обижает мальчишку.

А по деревне прошел слух:

— Царь Горох Витю Мокрого вылечил. Гипнозом!

Ну что ж, пусть говорят... До нас люди жили, много говорили, не помрем — так и мы поврем!

## КУЛИКОВСКИЙ КОНЬ

В лето 1980 года по деревням у нас прошел слух про какого-то таинственного коня. Будто бы появляется он в разных концах Куликова поля и помогает людям. Причем всегда в такой момент, когда ждать помощи совершенно неоткуда.

Рассказывали, например, как в Даниловке конь спас пастуха. Стал пастух купаться в омуте, а вода там холодная, ключи со дна бьют — у него и свело судорогой ноги. Кричит: «Помогите!» — да кто услышит? От деревни далеко, а на берегу одни коровы. Сбились в кучу, чуют неладное, ревут, а чем помочь — не сообразят. И вдруг из-за кустов вышел длинногривый конек, поглядел на пастуха да и поплыл через омут. Мужик, не будь дурак, уцепился ему за хвост, тем и спасся. А когда отогрелся на солнышке, опомнился — коня и след простыл.

Подобных рассказов ходило много. Кто верил в этого мифического коня, кто нет, но слухи про него не прекращались. Как-то поехал я на рейсовом автобусе в Епифань, слышу, и там про коня говорят! На этот

раз очевидцем был парнишка лет пятнадцати, практикант из СІТУ.

— Трактор у меня как взбесился: то влево прыгнет, то вправо, — рассказывал он своему соседу, добродушному толстоносому мужику. (Это был мой старый знакомый, возчик Миша Гудок из Ивановки.) — В чем дело, не пойму никак, хотя по вождению у меня четверка. Оглянусь назад, и самому стыдно: такие вавилоны вывожу вместо борозды!

— Ну и как же ты? — заинтересовался Миша Гудок.

— Да как... Куликовский конь помог.

— Ты серьезно, что ль?

— А то нет. Вышел откуда-то и шагает себе по полю впереди трактора. Я нацелился на него и жму. Доехал до конца поля, остановился и глазам не верю: борозда получилась как струна! Хоть играй на ней.

— А почему ты знаешь, что это куликовский конь был? — засомневался Миша Гудок.

— А кто ж еще? Он, больше некому. Вышел откуда-то и шагает по полю впереди трактора — путь мне указывает.

— Ну и что? Это вполне могла быть любая другая лошадь. Мой мерин, к примеру.

— Постой, Иван, — говорили ему мужики, — а откуда же тогда столько всяких рассказов про этого коня взялось? Раньше их что-то не слышно было.

— А вы что, забыли, какой у нас год? Куликовский юбилей на носу. Вот люди и выдумали какого-то необыкновенного коня: и других удивить, и себя попотешить. Праздник ведь!

— Что верно, то верно, — посмеиваясь, согласились мужики.

Всякая душа празднику рада, а мальчишечья особенно. Наши деревенские пацаны целый месяц ходили возбужденные и таинственные. Их все чаще видели

в Ивановке, во дворе у Миши Гудка. Значит, что-то они затевали перед праздником.

Я было попытался выведать у сына, чем они там у Гудка занимаются, но Колька состроил такую невинную рожицу, что пришлось махнуть рукой.

Перед праздником хватало забот и нам, сельским строителям. Возле Красного холма мы спешили закончить гостиницу, кафе, острокрышие павильоны и беседки — целый туристский комплекс под общим названием «Шатры». А шестого сентября, за день до праздника, нужно было установить прямо в поле открытые эстрады для артистов Москвы, Тулы, Владимира и других старинных русских городов.

Наутро денек выдался прямо-таки золотой: солнышко, тихо, белая паутина везде летает... Народ уже часов с шести потянулся к Красному холму. Целыми семьями шли, со стариками и ребятишками. Все домашние мои тоже отправились на праздник. А меня, как на грех, сковал радикулит. Жена, уходя, включила телевизор:

— Не горюй, отец. Скоро прямой репортаж с Куликова поля начнется.

А телевизор покартавил-покартавил да и замолк. И деревня как вымерла... Совсем я уж было нос повесил, да вдруг мимо окон всадник прогарцевал. Гляжу — это мой Колька в старинном шлеме. И колчан со стрелами на боку, и лук за спиной. Следом Ленька Никифоров мчится. Этот в буденовке и с саблей — прямо красный конник! Залюбуешься. Не зря говорят: стрельба да борьба — ученье, а конское сиденье — кому бог даст.

Кинули мальчишки ко мне на диван какую-то коробочку в окно и умчались. Открываю, а там самодельная деревянная лошадка. А на коробочке надпись синим фломастером: «Куликовский конь». Любуюсь я лошадкой, слышу — треск за окном: Витя Мокрый на мопеде подъехал.

— Витя, — говорю, — ты малый взрослый и друзья мы с тобой старые. Скажи по секрету: кто вас ко мне посылает?

— Дядя Миша Гудок, — признался Витя. — Мы всех больных проведываем.

— Что ж он сам не заскочит?

— Некогда ему...

Так и не сказал парень, каким таким неотложным делом Миша Гудок занят, но зато наладил мне телевизор. Включил, а репортаж уже всюду идет, митинг на Красном холме заканчивается. И вдруг показали Куликово поле сверху, с самолета. Среди необозримых просторов бежит огромный конь, хвост и грива по ветру! Я сначала не пойму — что такое? Присмотрелся, а это море людей колышется на Красном холме — в форме бегущего коня. Потом уж я узнал, что московский режиссер специально так народ расставил — для киносъемки. Значит, про нашего куликовского коня и до Москвы слух дошел!..

Сколько разговоров было после праздника! Все деревенские жалели меня: надо же, в такой день и расхворался. И чтобы как-то утешить, наперебой делились впечатлениями.

— Ну и народу понаехало! Тыщи! И в каждой толпе, как зернышко в стручке, какой-нибудь заводила. Или скоморох с балалайкой, или книгоноша, или коробейник с сувенирами. А на эстрадах что творилось! Новгородские гуслиеры, владимирские рожечники, рязанские ложкари, тульские баянисты... Прямо глаза разбегаются — не знаешь, куда смотреть.

— А куликовский конь не появлялся?

— Как не появлялся! В самый трудный час и появился.

На краю нашей Ключевки стоит заброшенная конюшня. Председатель велел сломать ее; все равно лошадей в деревне нет, а вид портит. Как-то под вечер я пошел посмотреть, с чего начинать разборку. И очень удивился: в дальнем стойле дремал над поваленной кормушкой старый сивый мерин. «Уши врозь, дугою ноги и как будто стоя спит...»

«Откуда он взялся? — гадал я. — Видно, бросили за ненадобностью проезжие цыгане. А может, не вынес соседства стальных коней, их мазутного запаха, вот и ушел из какого-нибудь колхоза куда глаза глядят...»

Возле мерина в закатных лучах солнца, пробивавшихся сквозь пыльные окна конюшни, светилась стриженная макушка мальчугана. Это был Ленька Никифоров. По словам его отца, Ленька никаких игрушек, кроме лошадок, не признавал. А в школе, когда учительница давала задание нарисовать дом или яблоко, он обязательно рисовал рядом еще и коня. И вот сейчас мальчишка любовно перебирал тонкой рукой спутанную конскую гриву. А сивый мерин, наклонившись над ним, шевелил своими мягкими отвисшими губами.

Я притих в углу, чтобы не спугнуть эти две живые души, которые, возможно, очень долго искали друг друга на белом свете. Ноги у меня затекли, за шиворот насыпалась колючая труха, и спина невыносимо ныла. Но я не шевелился, чего-то ждал... И не зря: в тишине пустой конюшни вдруг отчетливо слышались лошадиное фырканье и как будто знакомый, глуховатый голос:

— Подумаешь, сочинение на вольную тему! Да я тебе столько наговорю, лишь успевай записывать. Учительница враз пятерку поставит.

— Правда, — обрадовался Ленька. — Может, сейчас и начнем?

— А чего ж... Доставай тетрадку.

Ленька устроился за перевернутой кормушкой, как за партой, достал из портфеля тетрадь. А мерин вздохнул и задумчиво хлестнул себя хвостом по бокам. Хвост у него свалялся и был увешан репьями, словно бубенчиками.

— Ну, пиши... Прабабка моя, Сивка-бурка вещая каурка, ушла жить в сказку. И моего младшего братца, Конька-Гобунка, с собой сманила. А я остался среди людей. Много чего повидал в своей жизни. Возил и кареты, и крестьянские телеги. Знакомы мне и седло и плуг. Так вот и шагаю по русской земле из прошлого в будущее. Иногда останавливаюсь, чтобы овсеца схватить, зеленой травки пощипать, да рассказать людям, какие они есть. А то ведь в суете да спешке самих себя не помнят... Написал? Смотри, ошибок поменьше делай.

— Я стараюсь, — отозвался мальчишка.

Косые лучи солнца освещали его сосредоточенное лицо, падали на раскрытую тетрадь. Сивый мерин снова шумно вздохнул.

— Когда-то возил я самого Илью Муромца. «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!» — это он на меня ругался. Молод я еще был, а в молодости кто не спотыкается. Илья зла не помнил, отпустил меня в чистое поле — погулять да силы набраться. Весны сменялись зимами, улетали и прилетали птицы, а я все гулял. Да так загулялся, что поймали меня татары и увели в неволю...

Увели-то одного, а обратно я сам-друг вернулся! Ускакала на мне из татарского полону русская женка. Всю дорогу приговаривала: «Не выдай, конек, золотой меринок!» Ну я и постарался ради этой красавицы. Тише тени промчался и следов не оставил! Остановились мы только возле самой Москвы. Когда отдышались родным воздухом, рассказывала она, как жила на чужбине: «Глазами гусей паси, голосом песни пой, руками пряжу пряди, ногами дитя качай...»



А вскоре разыгралась на Куликовом поле великая битва русских с татарами. Столько народу тут грудь на грудь сошлось — аж земля прогибалась!

— Я знаю, мы по истории проходили, — слышался голос Ленки.

— Ну и хорошо. Я расскажу тебе, чего вы наверняка не проходили. После Куликовской битвы потише стало на русской земле. А в тишине и песня родится, и топор стучит веселее. Да некому было держать топоры в руках: сильно поредел народ.

В то время подружился я с мальчиком Ивашкой. Люди называли его сиротой: ни отца с матерью у него, ни сестры с братом. Но сам Ивашка думал иначе: «Какой же я сирота? У меня сивый мерин есть!»

Поехали мы с Ивашкой поле пахать. Идет он за сохой, как воробей: прыг-скок, прыг-скок... Целый день пахали, солнце уже вот-вот за горизонт спрячется, а клин еще большой остался. Тогда я собрался с силами и копытом подвинул солнышко повыше на небо. Так мы и допахали поле засветло. А люди удивлялись: какой день длинный стал!

Долго жил я у Ивашки. У него дети выросли, у тех свои дети... Целая деревня на Куликовом поле появилась — Ивановка. И всем я был нужен. Если трудно — идут за сивым меринком: он вывезет!..

В тихие вечерние часы вырубил дед Ивашка деревянного коня и установил на крыше своей избы. Казалось, везет этот конь избу в дальнюю даль, в синее небо, к солнцу! Присмотрелись люди и говорят: «А ведь деревянный конь на сивого мерина похож. Значит, это ему наш мужицкий памятник. Вечный!»

Я про себя улыбнулся: приятно, что мне, сивому мерину, люди памятник поставили.

Как-то проезжал мимо Ивановки царский посол. Тут и высмотрел меня в деревенском табуне посольский кучер Афоня. Родом он был здешний и толк в лошадях понимал. Эх и погуляли мы по чужедальним

странам! Правда, возил я не карету с послым, а телегу с самоваром. На чужбине мила и ворона с родной стороны. А тут — большой тульский самовар! Вот и грелся посол возле него и душой и телом.

Афоня же оказался еще догадливее: всю деревню с собой возил. Завернет ее в белый платочек, спрячет на груди — и в путь. Станет скучно Афоне на чужой сторонешке, развяжет он заветный узелок — и вот она, его родная Ивановка! И избы, и колодец с деревянным журавлем, и банька на задах...

Где только эта деревенька ни появлялась! И среди гор, и на берегу моря, и в пустыне. Однажды даже на острове среди океана. Ведь у русской земли издавна со всем миром связи.

Но куда бы ни забрасывала меня судьба, я рано или поздно возвращался домой, на Куликове поле. Кажется, тут и трава гуще, и вода чище, и овес такой вкусный, что от одного запаха бываешь сыт...

Сивый мерин, как все старики, оказался очень словоохотливым. Ленька и записывать перестал: положил локти на тетрадь, подпер кулачками голову — слушает. Я и сам слушал, затаив дыхание. Но, как на грех, обломилась подо мной жердочка, да еще с треском!

Подняться мне помогли чьи-то сильные крепкие руки. Это был возчик Миша Гудок. Вот, оказывается, кто рассказывал Леньке сказки! А я и не заметил его сначала за лошадью.

Вышли мы из конюшни уже в сумерках. В небе, словно золотая стрелка на часах, засветился молодой месяц. И вдруг смотрим — сивый мерин! На крыше крайнего дома. Поднял к месяцу деревянную голову с деревянной гривой — того гляди заржет...

## СОДЕРЖАНИЕ

Житный Дед . . . . .	4
В Ивановке . . . . .	10
Коляда . . . . .	21
Плотник Лучина . . . . .	27
Маланьина свадьба . . . . .	32
Берегиня . . . . .	37
Грамотей Филька . . . . .	47
Душа избы . . . . .	50
Шутиха . . . . .	57
Заговор . . . . .	66
Куликовский конь . . . . .	72

---

**Алексей Андреевич ЛОГУНОВ**

### КУЛИКОВСКИЕ ПРИТЧИ

Ответственный за выпуск **С. Лыкошин**

Редактор **А. Корнеев**

Художественный редактор **В. Недогонов**

Технический редактор **Н. Александрова**

Корректоры **Н. Самойлова, В. Назарова**

Сдано в набор 09.11.81. Подписано в печать 15.01.82. А03210.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная».  
Печать высокая. Условн. печ. л. 3,5. Учетно-изд. л. 3,5.  
Тираж 75 000 экз. Цена 25 коп. Заказ 1903.

Адрес редакции: 125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская ул., 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес типографии: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Заказ 2978.

В очередных выпусках «Библиотеки журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» читайте:

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ. «Орлиный камень», стихи

Степан ЗАЛЕВСКИЙ. «На легких ветрах», повесть

Валентина КАЛАШНИКОВА. «Имя земли», стихи

Сергей АЛЕКСЕЕВ. «Тайна третьего кургана», повесть

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО. «Один на один», повесть



25 коп.



Молодая гвардия